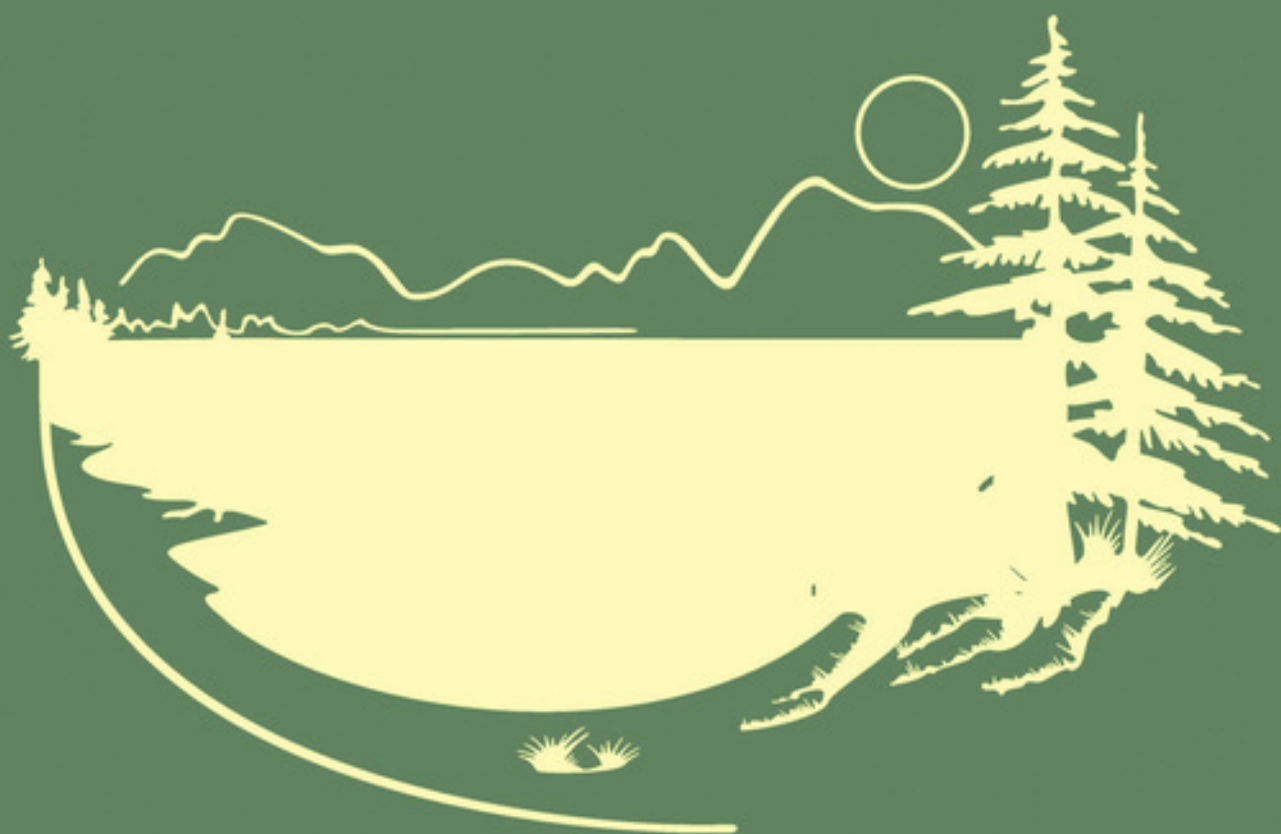


Николай Редькин

Тихая
Виледь



Николай Редькин

Тихая Виледь

Издательский дом «Сказочная дорога»

2015

УДК 82-3
ББК 84(2 Рос=Рус)6-44

Редькин Н. И.

Тихая Виледь / Н. И. Редькин — Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

ISBN 978-5-4329-0075-3

В романе рассказывается о драматичных судьбах нескольких крестьянских семей и их потомков. Первая часть посвящена тридцатым, а вторая — девяностым годам ушедшего века. События, произошедшие в России в последние десятилетия XX века, стали не менее драматичными для Отечества, чем поголовная коллективизация и раскулачивание: герои романа оказались в условиях нового переворота жизни.

УДК 82-3

ББК 84(2 Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4329-0075-3

© Редькин Н. И., 2015
© Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

Содержание

От автора	7
Тихая виледь	8
Часть I	9
I	9
II	10
III	11
IV	12
V	13
VI	14
VII	14
VIII	15
IX	16
X	17
XI	18
XII	19
XIII	20
XIV	21
XV	24
XVI	25
XVII	27
XVIII	28
XIX	29
XX	30
XXI	31
XXII	31
XXIII	32
XXIV	33
XXV	34
XXVI	34
XXVII	34
XXVIII	35
XXIX	36
XXX	37
XXXI	38
XXXII	38
XXXIII	39
XXXIV	40
XXXV	41
XXXVI	42
XXXVII	43
XXXVIII	43
XXXIX	44
XL	45
XLI	46
XLII	48
XLIII	48

XLIV	49
XLV	49
XLVI	50
XLVII	51
XLVIII	51
IL	52
L	53
LI	54
LII	54
LIII	55
LIV	56
LV	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Николай Редькин

Тихая Виледь

© Редькин Н. И., 2015

© Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)
Маме моей Надежде Яковлевне посвящается

От автора

Действие романа происходит на Виледи. Так издревле зовется этот край. Есть у него и другое название, официальное – Вилегодский район. Расположен он на юго-востоке Архангельской области. Край угористый, красоты удивительной. Особенно чуден он весной и летом, в белое время года, которое длится здесь с мая и чуть ли не до августа.

Река, протекающая в крае, носит то же название – Виледь. Она столь извилиста и живописна, что поэты слагают о ней стихи. Происхождение названия – коми, от слова «вилъыд» – *скользкий, гладкий, ровный*. Виледь – пойменная река с ровными, гладкими берегами, удобными для обработки пашни и сенокосных угодий.

Как и вся земля Русская, Виледь пережила много драматичных событий. Когда-то чуть ли не на каждом вилегодском угоре (горе) жили люди. Слово «гора» входит в название десятка деревень (Зыкова Гора, Задняя Гора, Соколова Гора, Мокрая Гора и др.).

Теперь многих деревень нет. От деревни Воронинская (второе ее название Курипины) до села Быкова мы с матушкой моей Надеждой Яковлевной насчитали чуть ли не два десятка прежних деревень. И это на трех километрах дорожной длины! Остались единицы (в основном близ Большой дороги). На угорах уже никто не живет. Названия деревень сохранились в памяти народной, да значатся записи в паспортах, говорящие, что владелец паспорта уроженец такой-то деревни. Роман «Тихая Виледь» я посвящаю русским крестьянам, живым и ушедшим от нас, рассеянным по белу свету по милости недальновидных политиков. Все события, описанные в романе, имели место в истории края. Однако рассказаны они так, как я их вижу и чувствую. Образы главных героев – собирательные.

Вся первая часть романа посвящена тридцатым годам XX века (первый переворот жизни). Во второй же части («Возвращение») рассказывается о событиях конца XX века: потомки крестьян, уцелевшие в бурях века, возвращаются к родным окладникам¹ – на Родину, где им и предстоит пережить новый переворот жизни: если в тридцатые на глазах потрясенного народа новая власть выгоняла из деревни самых крепких крестьян вместе с детьми малыми, а в домах их устраивала школы (!), чтобы оставшихся учить светлomu, добромu, вечному, то в конце века на глазах не менее потрясенных деревенских жителей ликвидируются эти самые колхозы! И совершаются события, не поддающиеся разумному объяснению...

Таким образом, роман представляет из себя «двукнижие». Надеюсь, он заставит задуматься над тем, что с нами произошло, и, может быть, понять, что происходит ныне в этом беспокойном мире...

¹ Нижние венцы (фундамент) деревянного крестьянского дома.

Тихая виледь



Часть I Переворот жизни

I

В марте заметно удлинился день. Ласковее запригревало солнышко. Появились на пригорках первые проталинки. Побежали первые ручейки. Потемнел снег. На крышах изб, погребов и бань толстые белые шапки подтаяли и отяжелели. Обильно закапало с потоку.

Расторопные бабы подставляли под вешние струи большие деревянные кадушки, и этот мелодичный, приятный человеческому уху звон ударяющихся о воду капель раздавался в течение всего дня; и только вечером, когда начинало морозить, переставала слезоточить прихода-матушка, и поутру вешние слезы ее оборачивались острыми сосульками.

И вода в кадушках покрывалась узорчатым ледком. Но как только вставало из-за угора солнце, вновь оживала эта дивная мелодия.

От проступившей воды посинел лед на широкой извилистой реке Виледи. Вдоль берегов образовались первые узенькие полыньи. Но дорога, по которой всю зиму ездили через реку на лошадях, стояла крепко. И по натоптанным за зиму тропинкам ходили в село Покрово без опаски. Но эта ранняя оттепель скоро кончилась: в конце марта ударили сильные морозы.

Тропинки к колодцам испещрены были замерзшими следами. По прочному насту ездили на конях без дороги. Мальчишки оглашали окрестности звонкими голосами, бегали в перелесках напрямик, роняли на твердый наст старые вороньи гнезда, которые, падая, рассыпались, превращаясь в кучу сучьев.

Лишь в апреле началась настоящая весна. Забурлили, покатили свои мутные воды в реку Виледь многочисленные ручьи и речки.

Дней через десять тронулся лед на Виледи. Вода прибывала на глазах. Рыба шла к берегу. Белыми вечерами то тут, то там можно было видеть фигурки мужиков с саками: рыбаки сбивали охотку.

Давя на шест, они медленно погружали сак в мутную, очистившуюся от льда воду, прижимали его ко дну и тащили к берегу, а вытащив, ловко переворачивали, разглядывая, не блещет ли в сетке рыбешка...

Несколько дней начала мая стояли по-летнему жаркими. Неслись с гор гремучие потоки, размывали тропки, дороги, пашни, кой-где вымывали большие рвы. Снега быстро таяли. Угоры из белых превращались в серые.

Вскоре снег с полей и угоров сошел; лишь в густом лесу, логах да перелесках белели снежные простынки и длинные узкие рукотертники, словно хозяйки, выбросив белье на талый снег, так и забыли снять его, обремененные заботами...

Широко разлилась Виледь-матушка. Огромные луга покрылись водой. Но сколь быстро, в два-три дня, вода поднялась, сравнив высокие берега с лугами, столь же быстро спала, оставив на заливных лугах многочисленные озеринки и озеринки. Зазеленела трава. И вилегодские угоры еще раз сменили свой цвет.

Лес оделся в клейкую молодую листву. В центре Заднегорья невысокие молодые березки расхвастались свежезелеными майскими сарафанами. А березы-старухи, огромные, вековые, с грубой растрескавшейся корой, стояли то тут, то там, безвольно шевеля длинными, устало свисающими ветвями.

Косился на них высокий, единственный в деревне кедр, стоявший в самом центре Заднегорья. Под ним деревенская ребятня шумно играла в лапту.

В двадцатых числах мая зацвела черемуха. Густые заросли ее за кедром оделись в подвенечные платья. И прибасились крутые берега близких и дальних логов. Дивный черемуховый аромат повис в воздухе.

С нарядным цветом черемухи пришло и похолодание. Над заднегорским угором, приблизив небо к земле, поплыли сплошные серые тучи. С утра до вечера моросил мелкий надоедливый дождь. Но через несколько дней облака рассеялись. Высоко поднялось небо. Солнце припекало.

Во дворах закопошились мужики.

Готовились к пахоте.

В верхних деревнях, расположенных на угорах-горах и по их склонам, земля быстро просохла, и некоторые нетерпеливые хозяева уже выехали пахать.

Да и кой-кто из заднегорцев провел первые борозды в Подогородцах, как звалась пашня ниже деревни: она тянулась от самых деревенских изб до ручья с говорящим названием Портомой: в нем деревенские бабы полоскали тяжелое домотканое белье, сшитое из портна – холщовой ткани, и гулко отбивали его кичигами – плоскими деревянными палками с длинными выгнутыми ручками².

В нижних же деревнях, расположенных по берегам реки Виледи, земля просыхала медленно, и мужики выжидали. Чинили изгородь, чистили старые стожъя, излаживали под рассадку вырчи – высокие парники из бревен в три-четыре венца.

Но через пару погожих деньков и нижние деревни приступили к пахоте. С высокого заднегорского угора их видно далеко-далеко, насколько хватает глаз...

II

Только Егор Валенков никуда не торопился, словно не весна-красна, не горячая пора. Сидел себе в избе на лавке у низкого окошка, густо дымил самокруткой.

Встал, кряхтя, прошел в угол, сплюнул в лохань. Вернулся на прежнее место.

Тощий, сухой, с длинными, как палки, болтающимися руками, он был столь нюхл и нерасторопен, что баба его Анисья, горячая на работу, бойкая и нетерпеливая, ела поедом непутевого своего:

– Чего не шевелишься, на все-те на булести! Пашут ведь люди, а ты, смотри-ко, палец о палец не колонешь...

– Не ебери! – ярился Егор. – Сыро еще... По угору-то, может, и ничего, а там, внизу-то, у Портомоя, сыровата земля, вчерась щупал ходил. А как не вырастет ничего, вот тогда я погляжу...

– Это на нашей-то земле не вырастет? – кипятилась Анисья. – Повернул к солнцу – через полчаса пыль пойдет! Сыро, ишь, ему, щупал он ходил! До седин дожил, а все про щупанья. Навязался на мою голову...

– Да не квокчи ты! – не в шутку ухнул Егор и рубанул задымленный воздух костлявой рукой.

– Не махай молотилами-то своими, нечего еще молотить-то, – не отступала Анисья. – А ежели как опять дожди? Вон уж и Захар Осипов с сыновьями выехал, – тыкала она куда-то в окно, – а ты, смотри-ко, потетения, настоящая потетения...

Егор распрямил спину, набрал воздуха в легкие и шумно его выпустил.

Напоминание об Осиповых на него всегда действовало. Анисья о том знала и часто укоряла его: вот, мол, как у хороших-то людей...

² Эта своеобразная колотушка для отбивания белья вырезалась из ели, причем сук дерева служил ручкой. – *Здесь и далее примечания автора.*

- От пила тупозубая! Едрить твою мать-перемать, послал Бог бабу неразумную... Степка!
- Чего? – отозвался из передней избы недовольный молодой голос.
- Чего, чего... Хомут выноси.

Рыжеволосый статный парень в белой домотканой рубахе переступил порог и остановился, глядя на отца.

- Ну, чего вытаращился? Плуг, говорю, готовь...
- Так сыро ведь, – насмешливо начал парень, – сам, говоришь, щупал...
- Рано тебе дикоту-то думать! – взревел Егор. И Степка, не прекословя более, пошел из избы.

III

Пахать начали, когда уже высоко поднялось над заднегорским угором майское солнце. Большая, старая, с прогнувшейся хребтиной и отвисшим животом Егорова кобыла, прозванная Синюхой за свой бусый цвет, ходко тащила под гору прицепленный к олуку³ плуг, а в гору шла медленно, лениво, упрячилась и поминутно останавливалась. Егор, не доверяя сыну, пахал сам. Бранился, ухал на Синюху что было мочи.

Кобыла дергала плуг, но метра через три опять вставала, испуганно озираясь по сторонам. Это так надоело Егору, что он, злой и вспотевший, вдруг подскочил к кобыльей голове и стал неистово кусать ее за уши, приговаривая:

- На вот, на вот!

Степка рот раскрыл. Глаза вытаращил. И стоял так с отвисшей нижней челюстью. А кобыла мотала большой головой, уклоняясь от хозяйских укусов.

Мужики, видевшие, как Валенков учит нерасторопную кобылу, громко смеялись по угору.

Шире всех пялил глотку Захар Осипов:

- Иди-ко давай покурим, – звал он Егора, – дай ты ей, христовой, перепышкать...
- Охотно, словно только того и ждал, бросил Егор вожжи, пошел на соседский участок.
- Бумажки-то у тебя, Захар, не найдется ли? – спросил он, когда они сели на межу.
- Захар добродушно улыбался в черную бороду.

Неторопливо достал кисет, вынул из него бумагу и, оторвав аккуратный прямоугольный кусочек, подал Егору.

Им обоим было лет под сорок, но Егор выглядел старше своих лет и больше походил на высохшего старика, чем на сорокалетнего мужика.

– Накажи-ка ты Анисье шепотки изладить да в пойло кобылье добавить. Глядишь, исправнее Синюха-то будет...

– Шепотки-то, они ведь иногда пузырями выходят, – недовольно отозвался Егор. Его больно задевали осиповские насмешки.

- А это уж кому как... Кому и пузырями...

Егор, не слушая Захара, смотрел, как Степкин годовок Ефим Осипов ловко управляет с конем.

Один из младших Захаровых сыновей убирает с пашни камни, которых здесь, на взгорье, много выпаживается каждый год; другой, такой же чернявый, как Захар, мальчуган лет двенадцати с жиденькой ивовой вицей, ходит за конем сбоку, по непаханому. Остановится конь, косит на мальчугана глазом. Тот выжидает с мгновение, дает коню передохнуть.

– Но! – ухает Ефим, дергает за вожжи, а конь, как не ему говорят, все косится на мальчугана.

³ Олук – оглобли, скрепленные брусом (или кругляком), за который цеплялся плуг.

И как только делает тот неторопливое, такое понятное коню движение, – может быть, только еще подумает сделать его, – а конь уж не дожидается, когда высоко поднимется жиденькая, с присвистом, вица и опустится на его черную, вспотевшую холку, – рывком дергает плуг и натужно тянет, мотая низко опущенной головой.

– Ефим! – закричал Захар с межи, когда конь снова остановился. – Не налегай так на плуг, медведь...

Егор устало поднялся, заковылял на свой надел.

– Давай-ко пробуй, погляжу я, чего у тебя, непутевого, нарстет, – велел он, подойдя к Степану.

Тот неуверенно взялся за ручки плуга:

– Но!

Понуро стоявшая Синюха даже ухом не повела.

– Едрить твою, чего еще! – рявкнул Егор. Лошадь вздрогнула, потянула плуг. Степка спотыкался, поспевая за ней.

Он не дошел борозды, как озорной девичий смех заставил его оглянуться. И Синюха тотчас остановилась, словно ей так и велено было. Межой, по извилистой тропинке, бегущей от деревни к ручью Портомою, с бельем на коромысле шла статная девушка лет семнадцати. Улыбка не сходила с ее красивого лица.

Посмотрел в сторону хохотуньи и Ефим Осипов. И черные, как у цыгана, густые брови его сошлись у переносицы, спрятав глаза.

Проходя мимо Степана, девушка глянула на него из-за коромысла, и почудилось ему, будто сверкнуло что-то между ними, в сердце ударило, грудь сдавило. И жарко сделалось: глазами, как огнивом, эта краснощекая в нем искру добывает!

– Степка! – погрозил Егор.

И очнулся Степан, дернул за вожжи.

– И не горбись, не горбись, – грозно продолжал отец, – смеются ведь люди!

Распрямил Степан спину, расправил плечи и проворно пошел бороздой.

Но когда Синюха останавливалась, вытирал он рукавом рубахи вспотевший лоб и смотрел под угор, где в логу у широкой колоды, чуть нагнувшись, девушка-расторопница ловко отбивала кичигой домотканое белье...

IV

Конец мая стоял теплым, сухим.

Закончив сев дома, Захар торопился выехать в лес катить пальники. Ранним утром после Христова Воскресенья велел сыновьям собираться в дорогу. Выйдя на крыльцо, он громко распоряжался и бранился:

– Афонька, опять не с того боку запрягаешь! И не крути шарами-то, слушай, чего такают! Афоня поднял уже оглоблю и, взяв дугу, хотел было вправить ее в гуж.

Бросив оглоблю, зашел с другого боку.

– Ногой, ногой в хомут упрись, – продолжал наставлять отец: Афоня не мог затянуть супонь. – Ту ли дугу взял? Поди, новую? Где же она у тебя затянется...

– Ту, вроде бы, – недовольно отвечал Афоня.

– Вроде бы!.. Ефим!

С задворья пришел Ефим, помог Афоне затянуть супонь, подтянул чересседельник.

Мужики погрузили на телегу метлы, мешки с льяным семенем.

Дарья суетилась вокруг своих работников, привязывавших веревкой поклажу, и приговаривала, кивая на самого младшего, чернявого Саньку:

– За ним-то хоть приглядывайте. Мало ли... Не испужался бы чего в лесу. И лапти у него старые, сухие, как бы не пыхнули. Смотрите, не наредил бы ногу. Живи потом сторонником-то⁴! Ну, давай, благословесь, хоть бы все ладно да хорошо...

Афоня взобрался по оглобле на коня, дернул за узду.

– За хомут-от держись, свернешь пивичу-то⁵! – беспокоилась Дарья, видя, как неловко сидит Афоня на покато́й спине Гнедка, потащившего в гору грузеную телегу.

Во дворе Валенковых нетерпеливица Анисья распорядилась своими потетениями:

– Все уж ковдысь уехали, а вы ведь уж нисколечко не шевелитесь на все-те на болетки!

Егор матюгался, а Степан ворчал что-то под нос.

И совсем уж ему нехорошо и жарко стало до противности, когда он услышал за изгородью знакомый девичий хохоток:

– Да вы и правда замешкались! – И, не сказав более ни слова, озорница бросилась догонять своих.

На самом гребне заднегорского угора она остановилась, и Степан с мгновение смотрел на эту далекую, неподвижную фигуру, за которой висело синее-синее полотно неба.

– Полька, пешком пойдешь! – по-мужицки строго окрикнул сестрицу мальчуган лет десяти, сидевший на верховой.

– Тятя, ты смотри-ко! – как птица встрепенулась девушка. – Да неужто и у нас еще один мужик объявился? Кабы не на верховой ты сидел, я бы тебя, Ванюшка, всего расчеловала!

– Дай тебе волю, дак... – недовольно отвечал Ванюшка.

– Ой-е-ё, е-ёшеньки! – хохотала Поля, садясь на телегу позади отца.

Михайло, плотный, круглый мужичок, был угрюм и немногословен:

– Трогай давай!

И Ванюша дернул за поводья; лошадь затрусилась под пригорок по узкой тележной дороге.

Через минуту-другую деревня пропала.

Осталось лишь синее небо, да солнце, поднимающееся все выше, да чернеющий в отдалении лес...

V

У лесной избушки Ефим распряг коня и привязал его чуть поодаль на травяном носке.

Захар осмотрел высокую пальниковую борону, проверил прочность черемуховых колец, которыми треноги крепились друг к другу.

Новая кулига Осиповых, рубленная прошлым летом, находилась в полверсте от избушки. Туда мужики пришли, когда майское солнце поднялось над высокими деревьями, высушило на солнцепеках росу.

Трещали под ногами сухие ветки, разбросанные по всему пространству кулиги. В центре ее стояли костры: залысины на деревинах загорели; кой-где отставшая береста высохла и скрутилась.

Мужики принялись за работу: кряжи складывали валами-ставами, на всю ширину кулиги.

Когда все было готово, запалили скалину и кряжи подожгли. Дым разных цветов – серый, черный, синий – густо повалил к ясному небу.

Засверкали языки пламени, словно проголодавшееся чудовище принялось облизывать сушь, землю, траву. Треск, копоть, едкий дым, жар – не подойти!

⁴ Сторонник – человек с физическими недостатками, инвалид.

⁵ Пивича – голова (*бран.*).

Но как только кряжи все взялись огнем, мужики длинными стягами-ожегами стали перекатывать их.

Ефим щурился, вытирал струившийся по лицу пот рукавом грубой холщовой рубахи-верховичи, спускавшейся ему чуть ли не до колен. Закоптились и высокие опушни из портна, и берестяные лапти, бывшие на нем.

Захар, весь потный и красный от жары и огня, орудя ожегом, поглядывал, насколько хорошо прогорают древесные корни и дерн.

Щурясь от дыма, Афонька с Санькой подметали угли метлами, отбрасывали в сторону головяхи.

Мужики, бросая ожеги, часто припадали к туесам, пили с жадностью, плескали воду на грудь и верховичу.

Санька с Афонькой попеременно бегали в лог за водой.

Сушь трещало и горело на кулигах до самого вечера.

К избушке Осиповы пришли, когда уже садилось за лес горячее солнце и из низин потянуло прохладой...

VI

– Ко проку, пожалуй, вот здесь, над логом кулигу рубить можно будет, – говорил Ефим, показывая на густые заросли ольшаника. – Под ольхой земля-то помягче. Вот лен посеем и валить пойдем. До сенокоса управимся.

Захар строго взглянул на сына:

– Шибко-то не распоряжайся, наживешься еще хозяином-то. Лес для дома приглядывай, коли строиться надумался. Да и борону новую надо излаживать, долго эта не надюжит: елух суковатых здесь сколько хошь, да не каждая суковатиха на треноги годится.

– А вот эта, тятя? Ишь какая! – Афоня задрал голову, разглядывая высокую ель, стоявшую у избушки.

– Эта-то хороша, не одна тренога из нее вышла бы. Да деду Никифору, покойничку, приглянулась эта елуха, велел оставить. Прохладно под ней в ведро, сухо в непогодье. Мне вот помнится, был год, когда ленок мы и не посеяли; как зарядили дожди – все залили. Недели три, поди, не попускались. Вот под этой елухой мы и куковали-горевали, курили да матькались. А нынче сухо, хорошо полыхает – только поворачивайся. Если Бог даст, старые кулиги распашем под ячмень, вот только зайцы не нарешили бы ячмень-от...

– Попужаем, – опять уверенно сказал Ефим.

– Много ли у тебя пороху, пужать-то?

– В железину поколотим...

Захар лишь усмехнулся: поколотит он, в железину...

VII

Любил Ефим после жаркой работы опохнуть студеной водой. И сейчас, схватив туеса, он побежал в лог к лесной речке. На травяном берегу ее остановился, закопченную рубаху с себя сбросил и, нагнувшись, запустил в омут черные жилистые руки, плеснул в белое тело водой и задрожал от удовольствия. Плеснул еще и еще!

И не сразу услышал он певучий, несколько насмешливый голос:

– И тебя, Ефимушка, за водичкой послали? Неужто помоложе никого не нашлось? Тогда уж ты и мне зачерпни, у вас тут омуток поглубже, да ты, поди, смутил все лапищами своими...

На том берегу речки стояла Поля с туесом в руке, сверкала в полумраке черными глазами. Она чувствовала власть над этим большим, вдруг онемевшим мужиком. Наслаждалась этой властью.

И когда он, шагнув на большой, обласканный водой камень, взял у нее туес и зачерпнул воды, она продолжала странным полусшепотом:

– Смеркается уж, и мне, Ефимушка, так боязно в лесу одной...

И он пошел за ней, на ходу натягивая рубаху, не мог отвести глаз от ее улыбчивого лица: Поля поминутно оборачивалась. Он словно потерял рассудок, забыл, где он, что с ним.

А в лесу было оглушительно тихо. Сказочно страшно. Таинственно. И звучал только ее завораживающий голос:

– Глянь-ко, какой свалок! Ефим, свалок, говорю, какой...

Он путано отвечал ей что-то, взглянув на большой шапкообразный нарост на толстой березе. И тут же забыл про свалок, про все на свете... Ничего не было: ни леса, ни вечера – была лишь она, близко-близко, совсем рядышком.

И звучал лишь ее голос:

– А какая замечательная вышла бы поварешка для поварни! Полведра ей зачерпнуть было бы можно! А ты, Ефимушка, заприметь местечко. Может, Бог даст, и правда изладишь эту повареху!

И Поля, оставив немного Ефима у приметного местечка, побежала на свою кулигу: сквозь редкий березник в полумраке белого вечера чернела Михайлова избушка, от костра струился слабый дымок, и из него, как из нитей, ткался невесомый белесый холст в отнорке выше избушки.

Ефим, наконец, пришел в себя, процедил сквозь зубы слова бранные и, спотыкаясь о неровности крутой тропинки, пошел обратно к речке, к оставленным туесам.

– Видел я все! Тяте все расскажу, – допекал сестрицу братец Ванюшка, приведший с водопою лошадь.

– Ой-е-ё-ё! И чего же ты такое выглядел? – похохатывала сестрица.

– А как ты с Ефимкой в кустах лясы точила...

– Да неужто с человеком и пошутить нельзя?

Братец, на сестрицу не глядя, ловко вколачивал в землю заостренный деревянный кол с привязанной к нему длинной веревкой.

А сестрица поучала его:

– Померяй, Ванюшка, не достанет ли веревка до кустов. Как бы не запуталась у тебя лошадь-то...

– И без тебя знаю, – ворчал недовольный Ванюшка. Отложив топор в сторону, он повел лошадь к ивовым кустам: веревка натянулась, метров пять не доставая их.

Когда все уселись за грубо сколоченный стол под навесом избушки, Поля насторожилась, наострила уши: прислушивалась к ударам топора в березнике. Она знала наверняка, что Ефим, вернувшись на приметное местечко, рубит указанную ею березу.

Братец же Ванюшка ел молча, хмурился, на сестрицу взглядывал исподлобья, но так ничего и не сказал тятеньке...

VIII

Муторно было на душе у Степана, ибо ведомо было ему, что Ефимко давно глаз положил на Польку-хохотунью, а при одной мысли о ней Степана жар охватывал, и дрожала и судорожно дергалась душа, как подстреленная птица. Робить не хотелось.

И мудрая старая Синюха чувствовала настрой хозяйский: когда утром следующего дня Степан выехал боронить остывшую за ночь кулигу, лошадь ходила лениво, еле ноги перестав-

ляла. И Степан не понукал ее: сидел на прогнувшейся хребтине и неторопливо ездил по кулиге из конца в конец, свесив на оглоблю олука обе ноги.

Длинные зубья пальниковой бороны рыхлили землю. На пнях борона подскакивала, только стукоток шел!

Не один десяток раз завернулся Степан.

Солнце нещадно припекало. Степана разморило, сон и лень одолевали, хотелось слезть с лошади, убежать в прохладу леса.

Вдруг и Синюха зауросила и поперла прямо в малег – ветки этого низкорослого леса чуть Степану глаза не выткнули.

Соскочив с лошади, он дернул бороны, но не тут-то было: крепко завязла она меж стволов.

Пришлось выпрягаться.

Егор матькался, велел сводить кобылу на водопой.

И Степан, не прекословя, взял Синюху под уздцы и повел в лог. Тут-то он и схлестнулся с Ефимком: высокий лоснящийся Гнедко его пил воду из черного омутка, низко опустив большую голову.

Место здесь было удобное, бережок пологий – Синюха передними ногами вошла в воду выше Гнедка. Образовалась густая муть.

– Куда прешь!? – закипел Ефим.

Гнедко его фыркнул, ступил еще дальше в речку.

Степан лишь хохотнул недобро.

Гнев Ефимков его веселил, будил в нем что-то буйное, страшное.

Вот вскочил Ефим на коня, вытянул длинным поводом по крупу – и Степан понюжнул его словцом неласковым:

– Не смозоль яйца!

И обернулся Ефимко в гнев:

– Я тебе ноги повыдергаю!

И услышал в ответ все тот же недобрый, злобный хохот...

IX

Когда Валенковы, окончив работы на кулигах, воротились в деревню передохнуть да в бане помыться, Анисья встретила их известием радостным:

– Егор, братан-от твой младший, Парамон, объявился! Два года от него ни слуху ни духу, и вот наконец-то... Я уж чуть было к вам на кулиги не прибежала...

– Ну балалайка, настоящая балалайка! – недовольно гудел Егор. – Да не балаболъ ты, сказывай все по порядку.

– А чего тут сказывать? Живой он. Анфиска ждет вас не дождется. – И, не сказав более ни слова, Анисья побежала к Анфиске.

Дом ее стоял в конце деревни, у глубокого лога.

– От баба помешанная! – только и сказал Егор. Вскоре явилась краснощекая, грудастая Анфиска и заголосила нараспев, как по покойнику:

– Письмишко мы получили, из Германьи, в плену Парамонушка. Идишь, судьба-то ему дороженьку какую уготовила...

– Чего развеньгалась, живой коли? – ворчал Егор, но радости сердечной не скрывал, взял у Анфиски письмо.

А та тараторила не попускаясь:

– Я уж читала-перечитывала, до последнего словечка помню. Вон и Окулина Гомзякова от своего Нефедка весточку получила. И он у нее в плену, сердечный. Так она такала меня: надобно два адреса писать, и по-нашему, и по-ихнему, по-германьски. В Покрово придется

идти, к попу. Окулина уж бегала. Отец Никодим никому не отказывает, книг он много читает духовных, знает и по-французски, и по-германьски. Говорят, из разных деревень бабы к нему ходят, и он им всем адреса на конвертах пишет, по-германьски-то, а то ведь не дойдет до Парамона письмо-то. Я бы и сама, Егор, сбегала, да на кого скота-то оставишь, старики-то у меня не завладели. А ты тетке Анне поклонись, с отцом Никодимом живет она душа в душу...

– От едрить твою! Ты, Анфиска, не лучше моей балаболки! Схожу, схожу, коли по-германьски надо. Ишь какие тут загогулины... – Егор с трудом, по слогам, читал письмо: в Покровскую церковно-приходскую школу он в свое время походил лишь два года, но слоги в слова связывать научился.

В письме же большими корявыми буквами только и было означено, что он, Парамон, жив, здоров, низко всем кланяется, думает со всеми свидеться скоро – не век войне быть. А Анисью свои дела заботили, и она о своем талдычила:

– Чего в лесу-то поделали? Дрова-то когда рубить пойдете? А новую кулигу? Не в кой поры сенокос-от подскочит...

Егор злился:

– Ох и воркунья! И как такого воркуна земля носит! Ставь-ка давай на стол да баню затопи, все тело иззуделось...

Х

Утром следующего дня Егор отправился в Покрово.

До самого села босиком шлепал, только пятки сверкали, сапоги же начищенные, веревочкой связанные, на плече нес.

У околицы покровской присел на бревешко, портянки навернул – в село вошел при полном параде.

И – прямёхонько к тетке Анне. Она уж лет десять жила в Покрове, пела на клиросе.

Низенькая избушка ее с большими, под самую крышу, окнами стояла метрах в трехстах от Покровской Богоявленской церкви.

Егора Анна встретила участливыми расспросами.

Узнав о Парамоне, разволновалась:

– На-ко, на-ко! Откликнулся Парамонушка, слава Богу. Денно и ночью о нем молюсь. Спаси и помилуй его, Господи, в болезни и в печалех, бедах же и скорбех, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядно же в гонениях, Тебе ради и веры православных, от язык безбожных, от отступник и от ерестиков, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву подаждь... И тебе, Егор, не надобно тревожиться: ничего батюшка не возьмет, а справит все, что следует. Службы сегодня в храме нет, ну да мы к нему домой сейчас сходим...

Дорогой Анна продолжала батюшку расхваливать:

– Дай Бог батюшке и матушке Валентине здоровья, всем они уноровляют и мне зачастую подсобляют.

Ковнясь вот батюшка мне самовар сам лудил. Потек у меня чего-то самовар-от. И в кузенке своей он все чего-то настраивает... – Они подошли к двухэтажному деревянному дому отца Никодима. – Ты, Егор, подожди-ко меня здесь, я скорехонько...

Анна заковыляла к крыльцу, опираясь на бадожок.

Ходила она недолго: вскоре появилась, отдала конверт Егору, приговаривая:

– Все батюшка исполнил, помолился за Парамонушку, за всех убиенных и плененных...

– Отец-от твой, Егор, давно убрался, Царство ему Небесное, – говорила Анна, когда они возвращались к ее избушке, – а я вот, непутевиха, все землю топчу да бадогом-то ее, грешную,

тычу, тычу, прости меня, Господи! И кому я эдакая кривулина нужна? И в церкви-то уж петь не владию...

– Да ты еще дюжая! Сказывают, всю картошку сама посадила. Нешто б нас покликкала! Степку снарядил бы...

– А уж сама! – не без гордости отвечала Анна, потряхивая маленькой головой. – Да и много ли мне картошечки-то этой надо? Копнула маленько, да и ладно. А у вас и своей работы невпроворот...

Егор загостился у гостеприимной тетки до вечера, и только когда уж солнце к горизонту склонялось, домой отправился.

За село выйдя, снял сапоги и до самой деревни шел босиком.

А дома Анисье поведал сухо, с чем из Покрова вернулся. В голяшки засунул пучок соломы – киток – и прибрал сапоги до дней лучших.

Анисья же схватила конверт с германскими загогулинами и бросилась к Анфиске сказывать, что дело устроилось, получит Парамон весточку долгожданную из земель заднегорских и возрадуется...

XI

Ранним утром, за неделю до яишного Заговенья, Захар Осипов со складниками⁶ развел в поварне огонь: пиво к праздникам он варил с размахом. И ржи пророщенной на солод молот много. Баба его Дарья каждый год еще задолго до полевых работ, с наступлением теплых весенних дней замачивала в кадушки⁷ не один пуд ржи, потом рассыпала ее на полаты, лавки, на пол у печи, старыми рукотертниками прикрывала. Дня через два-три рожь прорастала, сцеплялась, образуя густые кочки-куремы: сушила их Дарья на печи, на горячих кирпичках, и в печи, на противнях широких. И в житные мешки ссыпала.

А малые ребята ее, Афоня да Санька, из мешков рожь потаскивали да сладкую сухую поросье ели. И сусло они любили.

И вот, значит, ранним утром развели складники в поварне огонь, а ребята уж спозаранку вокруг поварни бегали – сусла просили.

А мужики шумели на них:

– Какое вам сусло сегодня! Путаются под ногами...

А в самом центре поварни стоял на огне большой котел с закипающей водой, а чуть поодаль на чурках лежали бревна, на них покоилась огромная кадча, под ней – корыто... Захар в отверстие в дне кадчи вставил длинную палку – стырь, с надетой на нее соломенной сеткой⁸.

И засыпали складники в кадчу солод, заливали его кипятком и опускали туда раскаленные камни... И это варево бурлило и клокотало в течение дня и всей ночи.

И только утром, когда из-за далекого горизонта выглянуло робкое солнце, Захар выдернул стырь, и в корыто потекла густая темная жидкость – сусло.

Один из складников, Евлампий Захаров, такой же широкоплечий и чернобородый, как Захар, сделал из соломины небольшой квадратик, макнул его в сусло, поднял, разглядывая пленку на свет.

– Ну, чего, Евлампий? Жидко? Густо? Воды добавить али лишка перелили? – спрашивал Захар.

⁶ В вилегодских селениях к большим пивным праздникам порой полдеревни складывалось.

⁷ Бывало, что рожь в житном мешке замачивали прямо в реку.

⁸ Сетку эту называли китком. Сусло готовили не только в поварнях, но и дома, в корчагах. Готовят и теперь. И на дно корчаги тоже кладут пучок соломы – киток. И корчагу поперву замешивают жиденько. И денек она солодеет в печи, после чего ее заливают горячей водой и снова ставят в печь. А вынув, извлекают из отверстия внизу корчаги деревянную пробку и сусло спускают в ведро. Киток задерживает солод, и сусло стекает чистым.

Евламий одобрительно потряс головой и передал мерку Михайле Гомзякову. Пленка лопнула, и Михайло вновь погрузил мерку в сусло.

– Вокурат, – наконец, заключил он, – давайте-ко сюда дарку.

Ему подали большой деревянный ковш с длинной ручкой. Им черпал Михайло сусло из корыта и разливал по ушатам. В дверь просунулась голова Поли:

– Тятя, дай-ко суслича попробовать. Михайло подал ей полную кринку.

– Ой и окусно! – нахваливала Поля. Сделав глоток-другой, она отдала кринку обступившей ее ребятне.

– Неси-ко еще ушат да бабам скажи, чтобы за суслем шли⁹.

Побежала Поля выполнять просьбу тятеньки да увидела во дворе Осиповых Ефима: сидел он на старой массивной скамье и старательно выдалбливал новую дарку из привезенного с кулиг свалка.

Поля бросила ему мимоходом:

– А я-то думала-гадала, кто в приметном местечке березу свалил? Уж не Степка ли Валенков? И он на этот свалок зарился.

– Ему-то он на чего? – поднял Ефим на озорницу черные глаза. – На хлеб-от у них ржи не хватает, не то что на солод...

– Какой же ты, Ефим! Да в богатстве ли счастье-то... – Отбросила Поля за спину косу черную и побежала к своему дому.

ХII

Утром, накануне яишного Заговенья, пришел Егор к Захару. Сел на табурет. Нога на ногу. Кисет достал. Дарья к тому времени уж печь истопила и замела: у устья печи, не закрытом заслонкой, тлела горка красных углей. Свертывает Егор папиросину и неторопливо говорит свое дело:

– Худо, Захар, совсем денег нет, а надо бы маленько чаю купить да сахарку. Гости на Заговенья обещались. Только и чаю попить, когда гости придут. – Говорит так Егор, достает спички и чиркает о коробок. Закуривает.

– Это правду ты сказываешь, Егор, только и чаю попить, когда гости придут, но денег я тебе не дам! – вдруг сказал Захар, как отрезал. Нахмурился. Брови черные свел.

Егор рот открыл, но вымолвить слова не мог, а только снял ногу с ноги и оторопело глянул на грозного хозяина, сидевшего на передней лавке.

– С тем и иди, Егор. Иди с Богом...

Все еще не приходя в себя, вышел Егор на улицу. Рот закрыл. Постоял под высокими окнами, не веря случившемуся. Снова зашел.

– А почего все-таки? А, Захар? Никогда ты прежде не отказывал. И возвращал я вовремя, как уговаривались. А нынче шибко надо бы. Пива не наварено, солоду нету. А Степка за теткой Анной в Покрово уехал. Охота чайком тетку побаловать...

– Почего? Иди-ка ты, Егор, да мозгами пораскинь, почего...

После столь непреклонных слов не осмелился Егор более спрашивать. И пошел себе. А Дарья обронила укорительно:

⁹ Сусло складники разносили из поварни по домам. Там над ним колдовали бабы: в кринке или кастрюле варили в сусле хмель. Потом процеживали его через сито, чтобы очистить от хмелин, и выливали это хмельное варево в чистое остывшее сусло. На меду или дрожжах замешивали из ржаной муки приголовок – небольшой колобок. И как только он поднимался, уживал, опускали его в сусло с хмелем. Через сутки-другие пиво было готово. На дне приголовок – мел – отстаивался. Его сохраняли до следующей варки пива или замеса квашни. Сахар стоил дорого – добавляли его немного: пиво получалось не очень сладкое, даже горькое. Это нынче сахар у всех есть, в достатке – и пиво выходит «окуснее».

– Может, и сам когда ткнешься, Захар? Знаешь, как на веку-то... Всяко наживешься. Грешно нуждающемуся...

– Нуждается! – закричал Захар, багровея и тыча пальцем в сторону краснеющей загнеты. – Нет, чтобы уголька попросить, – так нога на ногу, что тебе барин! Спичками прикуривает! А денежки пришел просить...

И Дарья, поджав губы, не решилась прекословить: спичечки на денежки покупались, а денежки давались тяжело. И Дарья, бывало, к соседке с кринкой за угольком бегала, чтобы печь растопить. А Егор, видите ли, при жародышащей загнете спичками надумался прикуривать!

ХІІІ

Утром в яишное Заговенье под кедром, у вырубленной в земле большой круглой ямы¹⁰ толпился стар и млад. Шум и смех висели в воздухе. Степка Валенков, сосредоточенный и очень серьезный, положил яичко на вершину лотка и, разжав пальцы, отпустил его: покатилося яичко красное, на яму выбежало, где широко стояли уже яйца неудачников, и остановилось в центре, ни одно яйцо не задев. Забрался Степка на чем свет стоит:

– Лоток вкопали косо. Перекапывать надо.

– Я кому-то сейчас перекопаю! – Ефимко Осипов пустил свое яичко, и оно, покотившись, ударилося в Степкино. Под одобрительный гул и смех Ефимко вынул из ямы два яйца.

Разздоренный Степка пустил еще одно. И опять мимо!

– Чего выбоины песком не заровняли? Кто яму копал?

Став на колени, он погладил ладонью дно ямы, выбросил мелкие, еле видимые камушки.

– Вот спасибочки! Поровнял, стало быть, доньшко? – зубоскалил Ефимко, сверкая черными глазами. – Да с того ли бочку ты к лотку подходишь, теми ли шепотками-молитвами яичко напутствуешь? – И, катнув свое яйцо, он опять из ямы вынул два!

– Да юла у него¹¹! – шумели бабы. – Не давайте ему юлой-то! Без шуму, без гаму очистит всю яму.

А в эту минуту к яме подошла нарядная Поля и, стоя за спинами баб и девок, с улыбкой наблюдала, как Степка, злой и потный, опять наклонился над лотком, держа в руке яйцо. Он хотел уж пустить его, как Поля, вдруг выйдя вперед, остановила его:

– Дай-ко, Степа, у меня рука легкая...

Поднял Ефимко мутные глаза на Полю, а та, как ни в чем не бывало, взяла у оторопевшего Степки яичко красное и пустила его. И весело побежало оно, закрутилося, завертелось, на яму выбежало, одно яйцо миновало, да в другое ударилося!

– О-о! – одобрительно загудели бабы.

– И мне, Поля, и мне! – запросила деревенская ребятня, подавая девушке свои яйца.

– Да ведь такое, ребятки, один раз бывает, – засмеялась Поля, закинула за спину длинную черную косу и пошла себе от ямы под восторженные взгляды девонек-подружек своих.

Ефимко же, черный, как туча, отошел к столам, что стояли под окнами их дома, сел играть в меленку¹², да со зла так ее крутанул, что чуть было не сломал...

¹⁰ Яма диаметром метра два-три вырубалась в дерне глубиной сантиметров десять. Кромки ее имели некоторый уклон: яйцо, пущенное с лотка, катилось, а не кувыркалось. И нынче в вилегодских деревнях ямы эти устраивают.

¹¹ Искусством катания яиц может овладеть в совершенстве далеко не каждый. Самые заядлые игроки готовились к этому легнему празднику загодя, зимой! На трубку русской печи, под самый потолок, ставили сырые яйца острым концом вверх. Яйца наполовину высыхали. При катании такое яйцо – с сухой вершиной – можно было поставить на желобок так особенно, что оно или на середину ямы выбежит, или под желобок закрутится – туда, где больше стоит яиц других игроков. Яйцо-юла!

¹² Меленку эту мужики налаживали таким образом. От дерева, чаще всего от сосны, отпиливали «колесо» размером с ведерное дно. В центре его крепили невысокий кол, основание которого было толще верха. На более тонкий верх надевали другое колесо: оно было больше нижнего, отпиливалось от более толстого дерева. По окружности верхнего колеса ставили штыречки – кольшкы из лучины на одинаковом расстоянии друг от друга. Использовали и гвоздики. В центре верхнего колеса

XIV

Вечером под развесистыми черемухами расправила свои крылья буйная русская пляска. Сначала плясали одни бабы, но вот на круг вышел сосед Егора, Евлаха: наклонив голову, пляшет в обнимку со своей Огнийкой. Время от времени он, как петух, задирает потную голову вверх и зычно выкрикивает частушку, обрывая бабы голоса:

Вороной, вороной
По отаве ходит.
Девка парня принесла,
На меня находит!

И Егор поплясать охотник, хоть это у него и не выходит. Вышел вслед за Евлахой на круг, топчется среди баб, дергает худыми плечами да под ноги смотрит, то ли не может насмотреться на сапоги свои, то ли боится нарешить их о невидимые выбоины и камни. А в кучке старух, стоящих поодаль, только и слышится:

– Ох уж у нас в деревне только один и плясун – Егор!
– Топтун он, а не плясун!
– А и потоптаться, девка, не всякий умеет. Ай да Егор!

А Анисья его, от баба! Нарядилась в рваные, в заплатках, мужнины штаны, длинную домо-тканую рубаху, шапку-ушанку и дает копотит!

Цыган цыганочку
Повалил на лавочку.
Лавочка качается,
Цыган-от матюгается!

Но уж и Дарья Осипова ей не уступает:

Не ходите, девки, замуж,
Замужем не берегут.
Переделают на бабу
И спасибо не дадут!

А Анисья тут как тут, руками в стороны разводит:

А какая я бывала
В девках интересная!
С кем гуляла, всем давала,
Замуж вышла честная!

Егор грозит ей кулаком, а ей хоть бы что: пошла себе кругом, высоко подняв над головой шапку-ушанку.

Мужики да беззубые старухи со смеху покатываются. А Дарья выводит своим сильным голосом:

на штырьке крепилась вращающаяся деревянная стрела с щетинкой на конце: раньше держали поросят с очень жесткой щетинкой; из нее изготавливались щетки – щети. Играющие по очереди вращали стрелу. Если щетинка останавливалась против штырька на окружности, то запустивший стрелу выигрывал яйцо...

Пойте, девочки, припевочки,
А мне не до того.
Умер дедушка на бабушке,
И не знаю отчего!

И Анисья-соперница подает визгливый голосок с другого конца:

А у дроли моего
Чудная привычка:
Запехает руки в брюки,
Щупает яичко!

Вдруг на кругу все смешалось.

Евлаха, плясавший уже без своей бабы, столкнулся с топчущимся в центре Валенковым, посмотрел на него пьяными глазами, словно не узнал, и вдруг заорал во всю глотку:

– Егор!

А тот даже головы не поднял, топчется себе да топчется.

– Егор, кол тебе в уши! – И Евлаха хватанул Егора за рубаху.

Гармонь смолкла. И пляска остановилась. Евлаха продолжал наступать на оторопевшего Егора:

– Говорят, ты к Огнийке моей ходишь, путаешься с ней?

– Евлампий, – всплеснула руками Огнийка. Бабы озабоченно шумели:

– Вот пало опять Евлахе чего-то на ум! Как выпьет, так шибко же неловкой...

– Так путаешься, говорю?

– Чё-о-о? – открыл рот Егор. – Да на кой она мне, твоя Огнийка? Своя хуже хомута.

– Ах! Дак ты моей бабой брезгуешь? – И Евлаха схватил Егора за грудки.

– Этому Евлахе только бы подраться, Еран, настоящий Еран, – недовольно шумели бабы. Стоявшие поблизости мужики стали сцепившихся разнимать и уговаривать.

– А ты, Васька, чего заступаешься? Родственник он тебе, что ли? – орал Евлаха на мужика с красным вытянутым лицом и большими, навывкат, выразительными глазами.

– Родственник! На одном солнце портянки сушили, вот и породнились! – Ваське было лет пятьдесят.

Длинноногий, выше всех на голову, тучный, широкоплечий, он славился в деревне недюжинной силой.

Подошел Захар и повел Евлаху к столам, за которыми мужики играли в карты. Егор, задетый за живое, поплелся за ними, но вступать в разговор не решался.

Евлаху усадили на скамью. Захар подал ему братыню пива. Егор же стал надоедать Захару, бессвязно лепеча:

– А почего все-таки, соседушка ты мой? Христом Богом ведь просил, а ты, Захарушка, вона как... – Припомнилась подвыпившему Егору обида, и пытал он обидчика, почему все-таки он денег ему займы не дал.

– Почего, почего! Богат больно, спичками прикуриваешь!

– Какое, Захарушка, богатство, нужда-злодейка... Захару надоело Егорово бормотание, и он вдруг заявил:

– Да я тебе пятак и так отдам. Надо? Прыгнешь с конька, и он твой! – И Захар посмотрел вверх, на крышу своего большого дома.

– А чё? – сразу согласился Егор.

– Чё не чё, а прыгнуть надобно на борону, кверху зубьями, ага! – Не думал не гадал Захар, что на такое Егор согласится.

Егор и правда опешил. С ответом замешкался. А ежели как ноги изувечишь, живи потом сторонником-то!

– А-а-а, – зубоскалил Евлаха, – куда тебе, Егорша, в порты наложишь!

И младший брат Евлахи, Ксанфий, сидевший в кресле под окнами, похохатывал да колодил руками о деревянные подлокотники: Ксанфий с детства был неходячим. Евлаха выносил его на улицу весной, летом, по большим праздникам.

Народу у столов собралось много. И Егор, раззадоренный, уж не мог отступать. Махнув рукой, он полез на крышу по скрипящей лестнице. Пока он взбирался и, покачиваясь, шел по охлупеню¹³ к коньку, Евлахины сыновья, Игорь да Сидор, молодые мужики, под стать отцу любившие потеху, притащили деревянную борону и бросили ее зубьями вверх под передними окнами против конька.

– Чего ты с дикаря возьмешь! – бранилась разгоряченная пляской Анисья. Вытерла лицо ушанкой и вгорячах ударила ею оземь.

Пелагея, оказавшаяся рядом со Степаном, сочувственно смотрела, как тот хмурится и катает желваки. Ефим взглядывал на них со стороны: по душе ему была потеха над Степкиным отцом. Захар, поняв, что дело зашло далеко, попытался Егора урезонить:

– Слезай, чтоб тебе!.. Так отдам, на! – И он подбросил на ладони пятак.

Егор, глянув вниз на борону, похоже, внял речам Захаровым, осторожно попятился от конька, но Евлаха продолжал потешаться:

– Ой и Егорша! Эко ты! Духу не хватает... Ну и Егорша!..

И Ксанфий продолжал хохотать, безобразно растягивая рот. И Егора «повело». Он опять подлез к коньку и, изловчившись, прыгнул вниз!

Все ахнули. Бросились его поднимать и ощупывать.

– Цел вроде бы, – смеялась отчего-то очень счастливая Поля.

– Да чего этому сухарю сделается! Скоро-то его не уторкаешь! – оживились перепугавшиеся было бабы.

– Ой, болько, тут болько, – как будто понарошку постанывал Егор.

Его, хромающего на правую ногу, отвели к столам, на скамью, как барина, усадили.

Захар пятак выложил, полный ковш пива подал... Ваське долговязому забава не понравилась.

– А чего, складнички? А ежели как я вашу поварню в лог спихну? За два пятака! – подступил он к Евлахе.

И все притихли.

Видимая отсюда поварня стояла на краю пологой лощинки. Почва здесь была песчаная. Под одним углом песок осыпался.

И народ озабоченно призадумался. А что, ежели поднатужиться? Пожалуй, что можно поварню и спихнуть. У Васьки вон какая силища!

И Евлаха заерепенился:

– А три пятака не хочешь ли?

– Эта работенка как раз два стоит.

– Ишь ты! – В голосе Евлахи уже не было прежней уверенности.

Вмешался Захар:

¹³ Охлупень – гребень, верхняя часть крыши. Представляет из себя опрокинутый желоб, сколоченный из двух обрезных досок. Охлупнем прикрываются верхние концы теса (нынче – шифера) обоих скатов. Теперь вместо досок часто используют «нержавейку».

– Будет тебе, Василий! Ну тебя к лешакам, прости Господи! – И Евлахе, и Василию подал по ковшу пива.

И Василий больше не настаивал, словно ему уже того довольно было, что Евлаха пошел на попятную. Вскоре вновь заиграла голосистая гармонь...

XV

Молодежь образовала свой круг, пустилась отплясывать «звездочку». На круг выскочили два парня и давай дробить! А девки по сторонкам ждут-дожидаются, когда их суженые по плечу хлопнут.

Поплясали парни, покружились – каждый против желанной ему красавицы остановился: хлоп-топ!

И девка пошла дробить.

Теперь уж две пары на кругу. Крутятся-вертятся.

Поплясав, опять к ожидающим-дожидającym повернулись: девка парня выбрала, парень – девицу-красавицу. Новые пары образовались. Теперь уж четыре их, восьмеро пляшущих, полная «звездочка»!

Вышел дроля на «восьмерку»¹⁴,
Сапогами топнул...

– неслось с круга.

Только вот беда: долговязые дочери Васькины все в стороне стоят. Никому не любы. Никто их не выбирает.

Пять девок Миропийка Ваське родила. На работу они хоть куда. Если как возьмутся косить, – никакой здоровый мужик за ними не угонится.

А грести? Лучше не тягаться. Вот только красоты они невеликой, долговязые, в отца. И замуж их Василий никак выдать не может. Откуда только к ним сваты не ездили!

Однажды прикатили из Покрова. Прошел по деревне слух: дело серьезное, нужна покровцам в хозяйстве работающая баба, будто бы положили они глаз на старшую Васильеву дочь, Шуру. Не было в деревне ее проворнее. Сама зароды метала, отцу не уступала.

Ожидая гостей дорогих, велел Василий Миропийке все пустые бочки, какие в хозяйстве были, днищами вверх перевернуть и днища-то зерном засыпать. Как велено, так и сделано.

И вот, значит, наехали сваты. Ну, то да сё – всё как положено. Видят гости, не худо здесь хозяева живут: зерна полные бочки! И невеста, хоть и невеликой красоты девица, на мужика больше смахивает, – а глянуть-ся начала.

Да вот беда: глазам своим русский человек не шибко доверяет, ему пощупать все надобно. Решили гости поглядеть, а каково у хозяев зерно? Горсть хватать – а там дно!

Удивились гости, но виду не подали.

А только молвили:

– Хорошее у тебя, Василий, зерно... – С тем и откланялись.

¹⁴ «Звездочка» имеет и другое название, «восьмерка» – по числу пляшущих.

XVI

Да Бог с ними, с бочками. Шуру жалко. Все она в сторонке, и до того ей обидно, что готова зареветь. Куксится. Платком нос мусолит. А подружка ее, бойкая да расторопная Польшка, с круга не сходит:

Рукава, рукава,
Рукава на вате!
Как я буду привыкать
С милым на кровати!

– Ой и Польшка! Вот ужо отеч-от тебе! – ухмыляются старухи и с пляшущей Поли глаз не сводят: – Вот девка! Хоть бы уж поскорее Михайло ее замуж выдал. Испридерутся ведь парни из-за нее все! Ефимко да Степка вон как друг на друга зыркают!

Сошла Поля с круга перевести дух, платком лицо вытирает. А на кругу в эту минуту отплясывают соперники-злюки, Ефим чернобровый да Степан рыжеволосый.

Обоим Польшка любя, оба по ней сохнут. А кто ей милее – то никому не ведомо. И вот тебе на! Хлопнул Ефим Полю по крутому плечу, а та возьми да и отвернись!

Сделался Ефимко чернее тучи. Не подвернись тут Шура, бог весть что вышло бы: так он ее, бедную, саданул по плечу, что ойкнула она, но отказать не посмела, робко на круг выплыла.

– Гляньте-ко, Ефимко Шуру выбрал! – расшушукались старухи. – Да в кои это веки? Ой, ой...

– А пусть попляшет, – защищали девку бабы сердобольные. – Сколько раз с пирушек в слезах уходила, тоже ведь поплясать охота...

И старухи соглашались, покачивали головами:

– «Восьмерка»-то уж шибко же пляска несправедливая. Иная с круга не сходит, а другая весь вечер в стороне стоит. Вон Польшка опять на кругу!

И правда: тронул Степан Полю за плечо, и она на круг лебедушкой выплыла, подбадривает долговязую подругу:

Голубые шарики
Под лавку укатилися.
Подруга, пой, не унывай,
Не унывать родилися!

И Шура спела! Никто от нее ране песен не слыхивал. А тут – на-ко вот! Выводила дочь Васильева толстым голосом:

Дроля топать научился
Обема ногами вдруг.
Посмотрю, как милый топает, —
Моя головка в круг.

И с какой безудержностью, с каким отчаянием пустилась плясать Шура, словно первый и последний раз ей счастье выпало!

И старухи одобрительно запокряхтывали:

– Ой и Шура, ой и молодец!

И не сразу смекнула-почувствовала плясунья: делается чего-то с ее длинной юбкой! Чего же это такое? Ой, Шура, Шура! Незнамо-неведомо люду стороннему, чем у нее юбка подвязана; только ведь сползает, сползает!.. И Шура, наконец-то, почувяла неладное: надо крутиться, вертеться, а она подхватила юбку – и с круга опрометью! Побежала домой в слезах. Раскраснелась. Разрыдалась. Шибко, видно, неловко девке. Обидно и горько. И не все поняли, что такое с Шурой приключилось.

Ефимко на кругу один остался. Оглушили его крики и хохот:

– Чего от тебя Шура-то побежала? Худо топаешь! Чего такое с девкой наделал? Расклевил, уговаривай...

Громче других хохотал Степка Валенков. А Ефимко сказать не знает чего! Сквозь землю провалился бы!

Отошел к черемухам, к дружкам – сыновьям Евлахиным. Подозвал и младших братьев своих, Саньку с Афонькой, долго чего-то им на ухо нашептывал.

– А чё дашь? – торговался Афонька. Ефимко обещал ему что-то.

И вот выждали братцы минуточку: Афонька стал на четвереньки за спиной ничего не подозревающего Степки, а Санька, разбежавшись, толкнул его. И полетел Степка через Афоньку, оземь ударился, рубаху новую вывозил, забранился на озорников:

– Ах, етит твою, ошлепетки сопливые!

А те заверещали понарошку, но так зычно, будто их живыми режут. А Ефимко с Еранами, Игорем да Сидором, тут как тут:

– Чего же это ты, паскуда, на ребят малых?

И понеслось! Замахали кулаками молодые мужики. Одни за Ефимка, другие за Степку. Забеспокоились старухи:

– Вот ведь Ераны драношары! Никогда праздник ладом отвести не дадут. Только бы податься! Ой, да чего же это такое...

Ефимкова партия стала одолевать, и Степкины дружки пошли на попятную:

– Уходим, Степа, умякают. Смотри-ко, еще вон... Улицей к дерущимся бежали два парня с колами в руках.

– Это я побегу? – совсем осатанел Степан. Вот тебе и лясник, вот тебе и непутевик! Кого-то замочил – только слычкало.

Девки сбились в кучу, перепугались:

– Полька, забирай какого-нибудь. Расшибутся ведь. Полька, кому говорят, взаболь¹⁵ они...

Видя, что и правда парни разошлись не на шутку, сорвалась отчаянная Поля с места, в самую гущу дерущихся залезла и проворно выволокла Степана.

Разгоряченный дракой, он бранился, вырывался, но держала она крепко, уговаривала ласково.

И драка как-то сразу вдруг остановилась. Опустил Ефим избитые руки и словно не слышал, что говорили ему матерящиеся дружки:

– Будь ты мужиком! Наводи ты Палахе по соплям! Старухи, бабы, подошедшие мужики бранились на молодежь:

– Мало вам девок! Из-за одной глотки рвете!

– Домой! И носа чтоб не казала! – велел Михайло, и Поля, не прекослова, пошла себе от черемух.

Молодые парни провожали ее взглядами, сморкались и плевали кровью на июньскую траву.

А белый вечер уж нахмурил брови и застелил реку и лога белоснежными простынями...

¹⁵ Вправду.

XVII

Все лучшее на земле совершается белым летом. Светло. Ясно. И в мире, и в душе необыкновенно празднично.

Давно отцвела, завязалась черемуха, процвела рябина по заднегорским логом. На лесных вырубках всюду цветет земляника. Кисточки «зеленча» черной и красной смородины висят в крапивных зарослях ручья Портомою. А по берегам извилистой Виледи-реки каждый вечер стоят на зорьке деревенские парни с удочками.

Мужики готовятся к страде сенокосной, упучивают горбуши и стойки¹⁶, излаживают грабельчи, легкие, как перышко. И ходят смотрят, какой удалась трава, нахваляются: густая, высокая, с «подсадом»; вот только высушить бы погода дала.

В первых числах июля все дружно принялись косить.

На луг ниже Подогородцев, что опрокинут природой-матушкой от пахотной земли вниз, к извилистому Портомою, высыпал стар и млад. Вырядились девки и бабы в белые платки и кофты, мужики в белые рубахи. Слышен крик, хохот, звон отбиваемых кос.

И горбатенькие, немощные старухи потянулись в луг посидеть, пошуметь, потакать молодежи. А иная не вытерпит – тянутся иструдившиеся руки к косе. Вот и старик Тимофей, древний, седой, а туда же! Всю зиму спал беспробудно, ни жив ни мертв. Баба его Агафья уж пужалась: подойдет, послушает, живой ли? А он как из преисподней: «Ждешь не дождешься смертушки моей». – «Фу ты, черт старый!» – крестилась Агафья. А теперь вот эка чего сделалось с мужиком! Встает спозаранку: надо робить. Мало на веку-то наломался.

И Анфиса бранится на него:

– Тятя, ну куда тебя несет – траву путать! Еле ноги волочишь, шел бы ты домой...

– А хоть покос, да пройду, – сурово говорит Тимофей, – много ли у тебя работников-то? Парамон, видать, на германча косит-взбубетенивает. Не кажется, не откликается...

И сел Тимофей на травяную кочку, и стал неторопливо лопатить косу-горбушу. Шутка ли – сенокос! Всех молодит. И стариковские щеки зарделись румянцем.

Ровные покосы потянулись к ручью Портомою.

Егор со Степаном косят, махая стойками. Анисья не отстаёт от них, пластает горбушей на обе руки.

Два небольших Егоровых стожья лежат на взгорье, у всех на виду. Старые покосившиеся стожары торчат из высокой травы. Захар, сенокосные уголья которого расположены ближе всего к Валенковым, по обыкновению своему не может удержаться, потешается над Егором, гогоча на весь околоток:

– Бросай, курить иди! – Положив косу на свежескошенную траву, он садится на широкую, гладко обритуемую кочку.

А Егор, как не ему говорят, словно обиду затаил, знаться с зубоскалом не хочет, косит себе, не оглядываясь.

Захар не отступает:

– Давай, Егор, на спор! Если до реки гольшом дойдешь, я твои стожья со своими парнями в полчаса озвитаю.

– А чё? – повернулся Егор в сторону громогласного Захара.

– Гольшом, Егор, гольшом! Али духу не хватит? – раззадоривал Захар ради общей потехи.

¹⁶ Названия кос. Горбуша – легкая (по сравнению со стойкой) коса с коротким кривым (выгнутым) косьем. Для того чтобы косить ей, требовалось низко нагнуться. Чаше ей пользовались женщины.

– А дай-ка спытаем твое слово! – И сбросил Егор с худых плеч белую, с темными пятнами пота, рубаху.

Спор привлек внимание всего сенокосного люда. Девки вылупили глазища, не верят, что Егор принародно... А Полька, самая отчаянная из них, разогнулась, вытерла травой косу и с любопытством наблюдает, как снимает Егор залатанные порты.

Вот он спустил их на свежую, только что скошенную и начавшую уже вять траву.

Девки завизжали, побежали под паберегу¹⁷, в ивовые кусты, и безудержно, раскатисто захохотали там.

А Поля раздвинула ветки, девичье любопытство разбирает: все снимет Егор или оставит чего?

– Снял, девки, все снял!

Под паберегой – визг, хохот, треск сучьев.

– Вот где лень-та!.. До срамоты готов, только бы не робить, – бранилась Дарья. – Анисья, ты бы хоть образумила его!

– Дикарь он и есть дикарь! – только и сказала Анисья, отвернувшись от голого костлявого муженька своего.

– Дикарь не дикарь, а... – бубнит себе под нос муженек, хватает широко: коса гудит, семена высоких трав сыплются на потное Егорово тело.

Отмахиваясь от лнущих паутов, ни разу не остановившись, доходит он покос до пабоки¹⁸.

Девки, прыснув, побежали еще ниже, к самой реке, в густой ивняк, завизжали, давя друг друга.

– Захар! Как, говоришь, уговаривались? – кричит Егор, старательно вытирая косу травой. А Захару не до него. Дарья бранит его на весь околоток:

– Вот и коси теперь иди, на посмешище-то! Нисколько уж не лучше Егора-то...

Мужики гогочут по угору. Васька ухаает со своей пожни:

– Егор, чтоб тебе!.. Девкам робить не даешь...

А Егор, как ни в чем не бывало, через весь луг неторопливо идет к своему хламу. Натягивает порты.

Лишь Евлахино племя, два сына, Игорь да Сидор с женами, как косили, так и косят, не обращая внимания на Егорово-Захаровы потехи. Огнийка – та вообще не разгибается: схватит из подвязанного подола юбки вареную картошину, откусит, бросит ее обратно в подол и косит себе без продыху. Разогнулась, когда увидела горбатенькую старушку с бадожком.

– Мама, ты-то чего еще приволоклась?

– Да вот видела – Тимофей укобылял. Дай-ка, думаю, и я пойду. Чего дома сидеть в экоет день? А я вам хоть полопачу, – говорила горбатенькая, – да ведь уж время к павжне¹⁹. Домой-то пойдете ли?

– Какая вам еще павжна! Ничего не поробили... – И Огнийка, отвернувшись от матери, пошла наяривать на обе стороны, только коса гудит, да болтаются в подвязанном подоле картошины...

XVIII

В один из ясных вечеров середины июля Степан подкараулил Полю у Портомоя.

¹⁷ Паберега – крутой берег луга.

¹⁸ Пабока – межа, конец луга (дальше обычно – обрыв, лог).

¹⁹ Павжна – прием пищи в полдень.

Бабы пересуды больно задевали его, и намеревался он выпытать, а почего, все-таки... почего она, Поля, в Заговенье из драки его вытащила?

Поля, разогнувшись, бросила на доску отжатую рубаху и отвечала озорно и уклончиво:
– А уж шибко мне того хотелось! Да и любо ли смотреть, как вы друг дружку молотите?

И не злись ты на Ефимка! Вон как Осиповы вам подсобили – целое стожье озвители...

– Какое еще целое! – закипел Степан. – Санька с Афонькой по покосу прошли...

– Да ведь корове легчи окосили – и то подмога.

– А ты под паберегой хохотала как ненормальная! – припомнил Степан.

– Так ведь не каждый день мужик принародно раздевается!

Степан вспылел и хотел уж было уйти, но она удержала его речами язвительными:

– А еще мне ведомо, как Захар тятеньку твоего прикуривать научил...

– Да тебе какое дело!

– Правильно, Степушка, не бабье это дело – прикуривать учить...

Перешел уж Степан ручей, обогнул куст ивовый – и вдруг услышал ласковое, нежное:

– Степа-а-а...

И сердце его гулко забилося. И он замер, оглушенный ее шепотом.

– А еще мне ведомо, – продолжала Поля игриво-насмешливо, словно не она только что вымолвила: «Степа-а...», и не она вызвала в нем сердечный гул. – Ведомо мне, что если в Портомою щепку бросить, то она до моря доплывет. – И, подобрав на земле щепку, она бросила ее в воду, приговаривая нараспев, таинственно, словно сказку читала: – Портомоюшка в Городишну впадает, Городишна в Виледь, Виледь в Вычегду, а Вычегда в Северную Двину, а та уж в море Белое... Доплывет! Так купцы сказывали, что лонись²⁰ у Евлахи стояли...

– Доплыла, как же! – недоверчиво отозвался Степан.

– А еще я знаю, что тятенька мой с Евлапием зимой собираются на Урал за камнем для жерновов.

Слышала промеж них такой разговор. Мельницу на Городишне ставить будут...

– Там уж и так две. Всю речку перегородили.

– А мельник Аполлос жалуется: у Заднегорской мельницы камни сносились, мука греется... И бабам худо – из такой муки худо спряпается...

– И про все-то ты знаешь!

– Про все, Степушка! А вот почего я тебя, черта рыжего, в Заговенье из кучи-малы вытащила, – про то не знаю не ведаю. А теперь ступай-ка ты своей дороженькой, а то не ровен час, заподозрят неладное...

Вверху слышались приглушенные голоса: кто-то спускался к ручью.

Степан прошептал торопливо:

– Здесь, как стемнеет! – и бросился бежать лугом, усеянным кочками, как бородавками, и вскоре пропал за свежими июльскими зародами.

...В тот вечер он не дождался ее. Поля не пришла. До полуночи ходил Степан пожней, сбивая росу; сидел под зародом на берегу Портомою.

В деревню поднялся, когда из-за далекого горизонта солнце показало свой хитрый глаз...

XIX

Утром Прокопьева дня Поля с Шурой долговязой да другими подружками своими отправилась в церковь. Шли они, нарядные да веселые, широкой деревенской улицей. От дома Захара долетал до них детский гвалт:

– Ефим, вели Ванюхе, вели ему!

²⁰ В прошлом году.

Ванюха, выездной конь Осиповых, любимец ребятни, стоял во дворе незапряженным. Тут же топтался Егор, о чем-то договаривался с Ефимом.

А мальчуганы не отступали:

– Вели Ванюхе...

– Вот уж вам приспичило, – ворчал Ефим добродушно. Подойдя к коню, потрепал его за гриву. Конь наострил уши. – Ну что, Ванюха, народ просит. Сними-ка ты с Егора шапку! – И указал Ефим в сторону Егорову.

Ванюха поднял большую голову, ступил к Егору и, взяв зубами-губами матерчатую кепку с валенковской головы, аккуратно положил ее на землю.

Малолетний народ хохотал, а Егор, хотя и знал о Ванюхиной учености, на сей раз опешил, на шапку поглядывал: как бы конь ее не нарешил. Мало ли. Прокусит. Изжульткает. Ишь, зубастый.

И Ефим, кажется, понял Егорову обеспокоенность:

– А ну-ка, Ванюха, положи кепку обратно на голову. – И Ванюха, как и велено, поднял шапку с земли и аккуратно вернул ее на голову Егора. Тот поспешно поправил ее и отступил в сторону. От греха подальше.

– А порты Ванюха не умеет ли снимать? – И на этот озорной Полькин голос обернулся и Егор сухопарый, и Ефим чернобородый.

Ефим словом не обмолвился, но так глянул, что Шура долговязая потупила голову, спряталась за спинами подруженек. Егор же забранился на чем свет стоит:

– Ах вы, пакостницы! Вот ужо, Полька, отцу скажу, дотрясешь космами-те! Наводит он тебя по дыре-то, образумишься...

Поля, видя, что Егор разошелся не на шутку, побежала под угор, хохоча. Дружно поспешили за ней подруженьки, только их и видели.

Лишь ребятня по-прежнему о своем шумела:

– И с меня, Ванюха, сними! И с меня!

Но конь стоял неподвижно, как не ему говорили. И у Ефима пропала всякая охота к потехе. Взял он Ванюху под уздцы, повел запрягать. Егор уже устраивался на телеге:

– Давненько я тетку Анну не видел, не владиет она вся, навесить надобно да молитвы ее послушать. Как складно да ладно поет она – душа радуется!

– Ну уж давно ты не видел! – недоверчиво усмехнулся Ефим. – Скажи лучше, бражки тебе захотелось...

– Так ведь праздничек-от пивной, святой Прокопий, ежели как не пригубишь, – осердится. А этих трещоток мы сейчас нагоним – да понюжалом! Другое запоют, пустозвонки...

Ефим опять усмехнулся: отсюда, с угора, видно было, как пустозвонки сворачивают с дороги на узкую тропинку. По ней не поедешь на коне, запряженном в телегу.

XX

Из Покрова Поля с подружками возвращалась под вечер. В лесу заднегорском нагнали они Егора.

Видать, опять загостился он у тетки Анны, оставил его Ефим, и ковылял Егор домой пешком, сверкал голыми пятками. Распьянехонек. Позамахивался на хохотушек, да куда там! Не догонишь, не достанешь.

А когда в деревню притопал, отправился к черемухам. Там голосисто пела гармонь. Бабы плясали на два круга.

В один из них вошел Егор, стал топтаться да писни²¹ свои петь:

²¹ Здесь и далее слово «песня» употребляется так, как оно произносится в Вилегодском крае. Речь в основном идет о

Шел я лесом – пеньев нет.
Захотел – терпенья нет.
Не подумай на худое:
Есть охота – хлеба нет.

Ефима под черемухами не было. И Шура не казалась. Старухи перешептывались, судачили о ней. Всем памятно было, как она в Заговенье от ухажера с круга побежала.

Зато уж Поля давала копоти, бабам не уступая. А когда с круга сходила, платком утираясь, старухи над ней подтрунивали да про разное такое выспрашивали – как это она не боится лесом ходить? Вот и нынче с Покрова малегами шла.

А она им, не долго думая:

Медведя встречу – отревуся.
На мужика наткнуся – отлежуся!

– Вот лешачиха! – смеялись старухи беззубыми ртами. – Не сносить тебе головы!
А Поля, тряхнув косою черною, опять вышла на круг.
Наплясалась вдоволь, а наплясавшись, в полумраке летнем растворилась-растаяла.
И не все видели, как Степка вслед за ней обогнул развесистые заднегорские черемухи...

XXI

Было ли у Поли со Степаном что-либо в ту теплую летнюю ночь, незнамо-неведомо. Но вездесущий братец Ванюшка допекал сестрицу утром следующего дня:

– Я все знаю. Ты со Степкой за банями целовалась. А на кулигах я тебя с Ефимком в березнике видел...

– Какой же ты у нас, Ванюшка, глазастый уродился да памятливый! И чего ты тятю тогда не наябедничал?

– Ну, с Ефимком-то ладно... Он мужик справный, – серьезно, как мужик, рассуждал братец Ванюшка.

– С ним, стало быть, позволяешь? – хохотала Поля. – Да чего в нем хорошего-то? Страшный, черный, будто из цыганской кареты выпал. Только и знает: робит да робит, отдыху себе не дает. Он же меня уморит.

– Уморишь тебя! И никакой он не страшный. Вон как Ванюху научил...

– Слушается его коняга, как собачка, а мне отчего-то быть собачкой шибко же неохота. А ты потерпи ябедничать. Я тебе ломпасья наживу, сладкого, хрустящего. А где добуду – это уж не твоя заботушка...

Ванюшка насупился, призадумался и вроде бы согласился.

XXII

После Ильина дня ночи стали темными, свидания Поли со Степаном частыми. Вечером, когда в доме все затихало, Поля бесшумно, как кошка, выходила на улицу. Возвращалась через часок-другой. Но вот однажды воротилась она далеко за полночь, кралась тихо-тихо, ступала еле-еле, но дверь, окаянная, скрипнула. Не успела Пелагеюшка на кровать присесть, как ей из полумрака словно ледяной водой в лицо брызнули:

– Куда это тебя, девонька, носило? А? – И это «а» как льдинка к горячей девичьей щеке.
– До ветру, тятя, чего-то захотелось, вот я и... – И не может Пелагеюшка договорить, ведь знает, что не то лепечет, и тятя знает, что не то.

– До ветру, говоришь? Да чего-то долго ты до ветру, девонька, ходишь. Захотелось ей, ишь... Зачастила ты по ночам до ветру ходить!

И подошел грозный тятенька, и двараз по спине крутой ремнем вытянул, садко так вытянул, хорошо в ночной тишине сошлепало. Поля ойкнула, стерпела, слова не вымолвила. Легла на скрипучую деревянную кровать и замерла, боясь пошевелиться. Долго не могла уснуть, прислушивалась к ночным звукам, глухим шорохам в углу, где спал Ванюшка.

XXIII

Степан сватался к Поле дважды, но Михайло стоял на своем, не отдавал дочь, не хотел родниться с Лясниками. В третий раз сваты нагрянули поздней осенью. Как на сей раз дело было, неведомо, только вскоре разнеслась по деревне оглушительная весть: Степка Польку высватал! Осиповы живо обсуждали эту новость.

– Ну и Михайло! – сокрушалась Дарья. – Кому Польку отдал!

– Да он-то, говорят, не соглашался, – глухо отзывался Захар, дымя в закопченный потолок, – самому ведь работница нужна, а Поля на работу жаркая! Да вот за Степана ей захотелось – больше ни за кого. Так сказывают...

– Поблажек он ей шибко много давал, вот и роднись теперь с Лясниками-то! Ну да на наш век девок хватит.

Слова эти относились к Ефиму, но тот угрюмо молчал, курил на приступке у печи.

– И где у вас, молодых, ум? К какому месту пришит? – продолжала Дарья. – Выладится одна девка, вот и деретесь из-за нее, дуботолки, прости Господи!

– А у тебя-то он где был, когда ты на меня обзарила? – усмехнулся Захар.

– Я? Да на тебя? Да на такую черную личину не то что обзариться – глянуть было страшно! Сказал тятенька, замуж пора – и пошла. Какое уж тут обзариванье! Да и велика ли была? Чего понимала?

– Да ты и в четырнадцать выладилась, что тебе баба хорошая! – хохотал Захар (он взял ее в жены, когда ей еще и четырнадцати не было). – А как у бани прижал – так и затаяла, залепетала... Сказать, чего лепетала, али помнишь?..

– Тьфу ты, пакостник! Под образом сидишь...

– Что правда, Дарьюшка, то правда. А Бог простит. А Дарьюшка не унималась:

– Вон у Василия сколько невест! И на всех любо-дорого посмотреть. Одна Шура чего стоит! Как начнет косить – ни один мужик за ней не угонится...

– Работать-то она владиет, – согласился Захар.

– А чего вам еще надо, нехристи? Всем баскую да пригожую подавай?!

– А ежели как Шура в мать да отца падется, да одних девок нарожает? Вот и закукарекаешь с ними... – Захар глубоко затынулся и выпустил дым.

– Васька сам виноват! Давно бы уж всех выдал, так богатым показаться хотел, днища засыпал! О, я какой! А Шура девка не худая, на работу жаркая, с такой не пропадешь!

Захар поднялся:

– Пойдем-ко, Ефим, робить надо. Этих баб не перешумишь. Самую строптивую кобылу спетить можно, но бабу...

– Вот-вот, идите-ко проветритесь да одумайтесь: начадили полную избу. Вешала хоть бы сегодня доделали. Скоро куглину околачивать²², а вы лен еще не вешали. Не лучше Лясников-то...

Ефим вышел из избы, так и не проронив ни слова.

XXIV

Свадьбу Поля и Степан сыграли в конце ноября, когда уже полетели с небес белые мухи. Ефим ходил сам не свой. Казалось, задумал чего-то. Дарья боялась его угрюмости, старалась обходиться с ним ласково. Однажды вечером он, наконец, обронил слова долгожданные:

– Сватом пойдем.

У Дарьи аж дух перехватило:

– К кому, Ефим, сватом-то?

– К Шуре! – И так страшно рявкнул он, что Дарья не решалась ни о чем расспрашивать. А назавтра набасились они с отцом и отправились к Шуре бойкой да на работу жаркой. Завидев гостей и Ефима черношарого, Шура до смерти перепугалась, в голбец²³ убежала и сидит там в потемках.

Потолковав со сватами, Василий к гобцу-то подошел да и говорит:

– Ну дак чего, Шура, пойдешь или нет?

А Шура ни жива ни мертва, из гобца, как из могилы, глухим дрожащим голосом отвечает:

– Я не скажу, что пойду, и не скажу, что не пойду. Ты, тятенька, хозяин, тебе решать.

Стали рядиться о приданом. А Шура все в потемках сидит. Слышит, как говорит отец:

– Я ей телушку даю. Она у меня заработала. Пошли телушку смотреть.

А Ефим не ушел, у печи стоит. А Шура о том не знает, думает, и женишок ее на телушечку ушел поглядеть. Хорошая у них телушечка. Ладная.

А дело под вечер было. В избе темненько: сваты-то в стаю с лампой ушли. А бабушка Шурина, столетняя Фекла, на печи лежала.

И думает Шура: не век же в подполье сидеть, дай-ко я выйду да на печь за бабушку лягу. Хоть и темненько, да ведь каждый уголок в своей избе знает Шура. Ну, думает, не сбрыкаю. Вышла из гобца, шагнула раз-другой, оперлась – да прямо Ефиму в грудь! Не думала не гадала, что он тут, у печи стоит. Обмерла Шура, дара речи лишилась.

И Ефим не нашелся что сказать.

Залезла Шура на печь за бабушку, ноги длинные к животу поджала, лежит, не дышит.

Вернулись сваты. Отец опять к гобцу подходит:

– Ну, Шура, вылезай, Богу молись.

А Ефим по-доброму выговаривает, с сердечной ухмылкой:

– Да она уже на пече, а не в гобце.

И отлегло у Шуры на сердце. Сели пить чай. Шура за большой самовар спряталась, глаз не кажет. А Ефим-от из-за самовара все выглядывает да выглядывает, словно никогда прежде невесту свою не видывал.

Так высватал Ефим Шуру. Но ходил к ней редко. Шуру до самой свадьбы спрашивали:

– Чего это Ефим к тебе с вистью не ходит, гостинцев не носит? Помнит ли, что у него невеста есть?

²² После обмолота головок льна семя отвеивали. То, что оставалось после отвеивания, отделения семени, называлось куглиной. Ее кормили пороссятам.

²³ На Виледи слово это произносится по-разному: голбец, говбец, в гобце. Голбец – своеобразный примосток между печью и полатами, а также подполье, в которое ведет большая дверь, расположенная между русской печью и стеной. В голбец спускаются по крутым ступеням. Если печь поставлена близко к стене, то двери этой нет. В таких избах сделан лаз в полу с массивной крышкой из половичных плах.

От бабьих пересудов бедная девка не знала куда деться, опускала глаза и отмалчивалась.

XXV

Зимой старик Тимофей совсем занемог. Исхудал. Кожа да кости. Но был в толку. Все ладно да складно говорил. Как-то доплелся до передней лавки, сел, долго-долго в окно смотрел да молвил:

– Всю жизнь хотел под окнами пихту посадить. А не собрался. Подумать только: девяносто лет собирался дело сделать, а на вот! А теперь уж все, ушло времечко.

Агафья, дикая, возьми да и спроси:

– Почего, тебе, Тимофей, пихта-то под окнами?

– А как бы сейчас хорошо было: за век-от пихта о какая выросла бы! И не надо бы в лес идти, как помру. Тут тебе венок, под окнами. А нынче, гляди-ко, сколько снегу насыпало. Убродно в лес-от...

Агафья только крестилась да молитву шептала. На другой день Тимофей опять доковылял до лавки. Сел. Увидел, мужики из леса сено везут.

– Ой, – говорит, – сколько зайцев набили! На каждом возу – только биленько! – А дальше опять о пихте под окнами: – Надо же, не собрался, а ко сту повертило.

XXVI

Забеспокоилась Агафья. Анфисье тревогу высказала.

А под вечер к Валенковым приковыляла посидеть. Сказала, что боязно ей, Тимофей про пихту под окнами поминает.

Анисья с Пелагеей сидели за прясницами, пробовали отвлечь Агафью от мыслей тягостных.

Анисья прясницу отложила:

– Ну, Поля, по два простеня сегодня напряли²⁴, и слава Богу.

Из печи достала корчагу заячьих голов, в центр стола поставила: аромат, дух от них по всей избе!

Агафью пригласили отведать зайчатины, да та уж домой засобиравалась. Егор разворчался:

– Ну вот! Ничего не посидела. Чего тебе? Шибко торопно? Не одного ведь Тимофея оставила...

– Да посидела бы, да до ветру чего-то захотелось.

– В наш нужник сходи. Неужто домой поплетешься?

– А чего назём-от в людях оставлять?

И после этих слов Агафьиных Егор уж больше не уговаривал. Кому в деревне неведомо, что добро это Агафья всегда домой носит, в людях не оставляет?

Пелагея и Степан озорно пересмеивались, за стол усаживаясь, провожали взглядом выходящую из избы Агафью...

XXVII

Назавтра бабы последний раз попарили Тимофея в бане. Сам попросил:

– Похвощите-ко, не владию весь...

Ох уж прежде любил попариться! Из бани в любую погоду, зимой и летом, босиком ходил – в одном полушубке, накинутом на голое тело.

²⁴ Пока рука «кружает», всё прядут на веретено; и вот это полное веретено с пряжею называется простенем.

А теперь вот как: бабы под руки привели, как с праздника хмельного, на кровать уложили.
А он им и говорит:

– Завтра никуда не ходите, не ездите, дома будьте. Ежели как все ладно, то помру. Жалко, с Парамоном на свете этом уж не доведется свидеться...

Бабы крестились, не веря словам его. А назавтра он и правда умер. Бабы, как он и велел, никуда не отлучались.

При них Тимофеюшка распустился. Тихо. Без стонов. Без единого звука. Уснул.

Похоронили его в Покрове.

Пока до кладбища везли, Агафья, склонившись над гробом, причитала, всю Тимофееву жизнь обсказала, – а Покрова все нет и нет.

Приподняла она голову да и лягнула:

– Далеко ли еще до Покрова-то? Уж не знаю, чего и причитать-то. У самой голова кругом идет...

И никто не зашикал на нее.

По лицам родни улыбка скользнула. Добрая. Светлая. И спряталась.

Когда с кладбища вернулись, Агафья, поддерживаемая Анфисей, обошла дом, шепча молитву и постукивая в пол бадожком²⁵...

XXVIII

Когда заднегорские мужики стали возвращаться в деревню с войны германской, казалось, изменился сам воздух, наполнился рассказными солдатскими, слухами и тревогою.

Мужик Окулины Гомзяковой Нефедко Бегун воротился одним из первых: не шибко работящим был, оттого и прозвище к нему такое пристало. Бегал больше, чем работал.

Вот и с войны Нефедко сбег. Бегун он и есть Бегун.

Он-то и принес в деревню весть о царе-батюшке, отрекшемся от царствия своего.

С сыновьями, Аникой да Венькой, бражничал несколько дней кряду да песни срамные орал:

Когда я в армию поехал,
Не велел печалиться.
Велел на крышу заползти,
Во все хайло²⁶ оскалиться!

А Анфисью, прибежавшую о Парамоне расспросить, совсем уж дикой песней хлестнул:

Бога нет, царя не надо,
Никого не признаем!
Провались земля и небо,
И на кочках проживем!

Анфисья крестилась да об одном лишь спрашивала:

– Моего-то не видел ли, не слышал ли чего про него, про Парамона-то?

Нефедко смотрел на нее пьяными глазами да обсказывал подробно, где бывал, с кем воевал, как в плену побывал.

²⁵ После похорон обходят все помещения дома, творя молитву и стуча в пол, чтобы оставшиеся в доме жить не боялись покойника.

²⁶ Хайло – рот (*бран.*).

– А про Парамошу не слыхивал, жив ли, нет ли – того не ведаю. Всё, Анфисьюшка, в Рассее смешалось да разбежалось. – И опять затянул писню дикую – слушать было невмоготу. Прибежала Анфисья домой – да реветь! Остановиться не может. Старший, Петруша, и говорит ей:
– Ты чего это реवेशь-то?
Она опамятовалась, слезы утерла:
– Да нет, Петя, ничего я, так, всплакнулось... – А у самой обида на весь свет, на войну, на германча, на Нефедка, как казалось ей, горя не хватившего...
А писни его так и догоняют, и хлещут, хлещут!

Бога нет, царя не надо...

Господи, Господи!

XXIX

Удивительно, но опять пришла весна; презрев вселенские человечьи неурядицы, в белый цвет нарядила черемухи по крутым логам, дурманящим запахом наполнила майский воздух. Мужики выехали сеять в Подогородцы.

И Валенковы, понюжаемые нетерпеливой Анисьей, запрягли Синюху, погрузили на телегу мешки с зерном.

Поля, возвращавшаяся с колодца, хохотнула в полроточка, поравнявшись с угрюмым Степаном:

– Не дает тебе матушка в кровати поваляться, с молодой женой позабавляться... – Но, увидев вышедшую на крыльцо Анисью, поджала губки, на роток уздечку набросила.

– Вёдра-то хоть не забудьте, – наставляла Анисья мужиков визгливым голоском, – а то проползаете туда-сюда весь день...

Приехав на поле, мужики сняли с телеги мешки. Один из них Степан развязал, набрал в ведро зерна и, подхватив его, закинул за шею привязанный к ведру ремень. Сойдя с межи, он отправился вспаханым загоном: хватал зерно горстями и разбрасывал его.

– Не балуй, не в бабушки играешь! – приглядывал за сыном Егор.

После павжны мужики боронили. Домой приехали уж под вечер, когда закатное солнце запачкало краской избяные стены.

– Хорошо ли, Степа, заперечил наше полюшко? – спрашивала Поля, поливая ему на руки посреди двора.

– А уж покружался! Вдоль и поперек! – серьезно отвечал Степан, брызгая в лицо водой. – В три следочка поперечить пришлось. Сухо. Твердая нынче земля.

– Да неужто и долил в три? – ухмылялась Поля, зачерпывая воду из ведра.

– Кто в три следа долит? Бестолковое-то не шумела бы. – Он усмехнулся. – А твое-то полюшко я и в четыре задолю, без заботы. Ты не Синюха, не заурисишь...

– Да хватит ли силушек-то у тебя?

– А то нет! – Он взял из рук ее рукотертник белый и пошел в дом: мать звала ужинать.

Егор уже сидел на большом месте у окна, неторопливо резал ярушник на ломти. Напротив него, под образами, устроились на широкой лавке молодые. Анисья справа от хозяина. Поля ела охотно, в большое блюдо с дымящимися щами заворачивалась часто.

– Ну, благословесь, как у нас Пелагея ест, – вдруг сказала Анисья. Не со зла. По-доброму.

А в душе у Поли похолодело, словно студеным ветерком дунуло. В лицо ее круглое краска бросилась.

Никогда еще свекровушка ее не попрекала, а тут вот как – с губ сорвалось, в душе Полиной все заморозило.

– Ешь, ешь, Христос с тобой, раз промерлась, – поспешила добавить Анисья. Почувствовала, что не то сказала. Не так...

А у Поли ломоть в рот не полез. Но виду она не подала, словом не обмолвилась. А когда из-за стола вышли, у Степы к маменьке отпросилась.

XXX

Прибежала в дом отчий. А там тятенька с Нефедком густо дымили да про войну шумели. Братец Ваня слушал их, открыв рот. Но Поле было не до рассказней мужицких. Увела она мать в другую избу. Ульяна не на шутку встревожилась:

– Садись-ко давай, побоем по-хорошему, лица на тебе нет.

– Наказание какое-то, мама! Ем, ем и все наесться не могу. Поела – опять охота. Неловко как-то перед свекровью.

– Да неужто оговаривает? Не беременная ли ты, девка? Я когда с тобой ходила, свекровка моя, Царство ей Небесное, жива была. Не хую я ее, из нужды, бывало, покоекка говаривала: «Столько не наробили, сколько съели». А я уж не робила последние-то дни, только и думала-гадала, скорее бы разрешиться.

– И я чего-то перепугалась. Чего, думаю, такое со мной? И сама не знаю, чего. Каждый месяц около одного дня бывало, а тут – нет и нет. И в этом месяце не дождалась...

– Побереги себя, шибко-то не належь, не петайся. Из смежной избы доносился крикливый голос. Нефедко распался:

– Хошь верь, хошь нет, Михайло, а на войну нам еще идти, за угором заднегорским не отсидеться.

– А чего же это вы германча не довоевали, домой побежали? – спокойно говорил Михайло.

– Да одни зовут на германча, другие на царя науськивают. Пошумели мы с мужиками, да и решили к земле подаваться.

– Чего это они, и взаболь? – встревожилась Поля. Прислушалась.

– Да как сойдутся, так об одном и том же, – махнула рукой Ульяна, – о войне да о большевиках каких-то. Не большевики, а настоящие лешаки: и в Покрове, говорят, объявились, начальника волостного выгнали, сами сели. Ироды, прости Господи!

– В Архангельске, сказывают, англичане, – продолжал Нефедко, когда бабы вышли к ним, – заварится каша...

– Ох и дыму от вас, как из печной трубы, хоть бы уж перехват открыли, – ворчала Ульяна. – На-ко, Поля, понеси пестовников²⁷, сегоднястряпала.

– Да уж, поди, переросли песты-те? – заметил Нефедко.

– Ну, давай, переросли! – отмахнулась Ульяна. Поля, принимая пестовники, обратилась к братцу:

– Ты, Ванюшка, чего-то в гости к нам не ходишь? Братец даже глаз не поднял.

– Песты-то он собирал, – примиренчески говорила Ульяна, – кабы не принес, так и пестовников не было бы.

– Спасибо, Ваня.

Поля простилась. От дома отчего она шла неспешно, любовалась закатом. Стоял белый майский вечер. Солнце на глазах садилось на черный горизонт и таяло, как масло на подогретой сковородке...

²⁷ Песты – головки хвоща, растущего на пашне, использовались как начинка для пирожков (пестовников).

XXXI

– Ты на мать не сердчай, сдуру она ляпнула, теперь кается, – тихо говорил Степан, когда они с Полей укладывались спать.

– А я и не сердчаю. Мы с ней ладим. Хоть и ворчит она, а душа у нее добрая. А вот этого сегодня не надо... – остановила она его.

Он удивился:

– Не ты ли сказывала, что любо тебе в два следочка?

– Любо – хоть и по следочку, да каждый день, а нынче нету никакой надобности. Какой ты недогадливый, Степа! Ребеночек у нас будет, парничок...

Он задрал подол ее исподней рубахи и ошупал белый мягкий живот:

– Ничего не знатно... Парничка она придумала!

– Какой же ты бесстыжий, Степа! – Она одернула рубаху. – Мало еще денечков-то парничку нашему. Ну, иди ко мне, только тихонечко...

Ей мило было, что он слушался ее, не навалился, как бывало, а шел к ней нежно, ласково, спрашивал странно-загадочно:

– Ну, чего? – И, как ей казалось, ждал ответа.

– Хорошо, – отвечала она, улыбаясь. А когда он оставил ее, прошептала:

– Ярушничка принеси, насмертно²⁸ ести охота...

И он, уже мало чему удивляясь, послушно поднялся и пошел на середь²⁹...

XXXII

На лесные сенокосы Валенковы в тот год выехали поздно, после Ильина дня: конец июля стоял дождливым, лишь в начале августа установилось вёдро.

Анисья, по обыкновению, всех поторапливала, в небо поглядывала с опаской: из-за леса выползали бело-синие нездоровые облака.

– Смотрите-ко, какие морока заходили. Только бы дождя не было.

– Твои бы слова да Богу в уши, – недовольно отзывался Егор, обтыкавшийся в центре пожни: свежезаостренный стожар³⁰ высоко поднимал над землей и с силой втыкал его в землю.

Степан и Пелагея, стараясь не отставать от неумной Анисьи, бойко хватили граблями легкое, сухое, как верес, сено: извилистые валы тянулись через всю буковину. Теплый ветерок ворошил их. Поля, дойдя погребом до конца пожни, вдруг остановилась у высокого молодого малинника, прислушалась:

– Степан, тут какие-то маленькие ребятки воркуют...

– Ну вот! Как забрюхатела, так везде ребятки видятся.

– Какой ты, Степа! Ты сам-то послушай...

Степан подошел к малиннику, обогнул его и, опустившись еще ниже, под буковину, обмер, увидев огромную медведицу с двумя медвежатами, возившимися в траве.

– Нет тут никаких ребяток! Давай вверх теперь пойдем, отгребай от кустов к стожью...

Пелагея шла первой, Степан за ней. Но она поминутно оглядывалась. Он злился.

Когда они дошли погреб до стожья, Степан вдруг бросил грабли и побежал малегом к избушке. Схватил ружье, зарядил и пустился березовым перелеском вниз, к малиннику: оттуда вдруг как сгромкает!

²⁸ Очень.

²⁹ Середь – место перед печью, отделенное деревянной перегородкой или занавеской.

³⁰ Стожары – длинные заостренные жерди, которые втыкают в землю на одну линию на расстоянии полметра (и более) друг от друга. В стожары мечут сено.

Пелагея вздрогнула и схватилась за живот. Егор, уже начавший метать, опустил вилы, забранился:

– Куда палишь! Много у тебя патронов-то дак!..

– Чуть косичу³¹ не вышибло, – говорил Степан, поднимаясь к ним и потирая правое плечо. – Там медведица с медвежатами.

– А я-то думала, почудилось мне, – почему-то обрадовалась Пелагея, – они ведь и правда воркуют, как ребятки малые. А чего же ты мне сразу не сказал, что там медвежатки?

– Ну, испугаешься еще. Мало ли... – Он взглянул на Полин живот.

Она хохотнула и прищурилась:

– А куда же они ушли? Боязно...

– За речку подались, на Евлахины пожни.

– Евлаху не испугаешь! – сказал Егор. – Ему, поди, лет двадцать было: за речкой Сухой медведица на него вразилась, а под руками ни топора, ни ножа, хорошо – собака была. Измяла ее медведица, порвала. Он ее домой на руках принес. С руки кормил не один год, пока не померла.

– А правда ли, что Васька медведя домой приводил? – подстал к разговору Степан.

– Да когда это было! До женитьбы еще. Медведя-то он из ружья ранил, а тот на него, да и оборол. Хорошо, Васька изловчился да в рот медведю руку сунул, за язык ухватился, так и вел до деревни. Руку-то он ему изжулькал, искровянил. До сих пор следы знатко.

– Хватит давай лясы точить, – не вытерпела Анисья, – у Евлахи давно все и дома, и в лесу выставлено, а вы, путаники... Смотрите-ко, пересохло сено, мнется – листовник один. Побрызжет дождем, нечего грести-то будет!

– У Евлахи-то есть кому робить, да Ваську еще созвал метать, – заметил Егор, хватая навильник сена и ловко опрокидывая его в промёжек³².

– Вон и Осиповы отсенокосились да Ефимку уж полдома срубили, – не унималась Анисья, – а мы все из леса выползти не можем.

– Рубят-то они рубят, да и подумывают крепко, – бурчал Егор. – Шура-то на сносках, вот-вот родит: девку она Ефимку в новый дом принесет али парня?

– И ты, гляжу, под Полин подол заглядываешь, нехристь! Мечи, говорю, морока заходили...

Пелагея лишь посмеивалась, слушая перебранку да время от времени хитро поглядывая на потного, покрасневшегося муженька своего.

Ближе к вечеру Егор велел Анисье идти домой обряжаться, сам же с молодыми остался ночевать.

– Завтра-то долго не протягайтесь, – наказывала Анисья, – от кустов начинайте отгребать, из малегов на бубень траву выносите...

Егор облегченно вздохнул, когда его тараторка скрылась в лесу. Сел курить: любовался гладким ухоженным телом зарода.

За солнцем уже пала роса. Гребь отбило. Степан с Пелагеей пошли к избушке разводить костер.

XXXIII

Вёдро постояло: через два дня Валенковы выехали из леса.

У околицы деревни Егор слез с телеги, поковылял пешком: мерное тукание топоров его привлекло.

³¹ Косича – ключица.

³² Промёжек – расстояние между стожарами.

Он привернул к Осиповым: новый, желтый, в пять рядов сруб стоял на пустыре метрах в пятнадцати от дома Захара.

Поздоровавшись, Егор стал расхваливать работу:

– А и правда у вас быстро подается... – Он, видимо, имел в виду слова Анисьи, что Осиповы уж полдома срубили. – Ишь как! Только щепки летят!..

– Э-э-э, Егор! – с укоризной, без улыбки протянул Захар, сидевший на бревне и рубивший угол. – Это, парень, хрен не рубака, ежели как во все стороны летят! – и Захар ловко ударил топором раз, другой. – А вот если как все щепки под бревно ложатся...

И Егор, чудак, нагнулся, глянул, все ли щепки Захаровы под бревном.

А они и правда лежали там аккуратной кучкой. Щепка к щепке.

– Убирай башку-то, оттяпаю!

– Да кабы прок в ней был какой, – отвечал Егор бесшабашно.

– Прок не прок, а без нее все ж таки как-то неловко.

– А это уж так, – согласился Егор. У дома Захара вдруг заголосила баба.

– Чего ино такое там... Ефим! – крикнул Захар. Ефим, рубивший угол на другом конце бревна, слез со сруба, неспешно пошел к дому.

За ним поплелся Егор. Еще издали они увидели бабу Ефимову, Шуру: пузатая, дородная, она сидела у открытой двери погребца и причитала, как по покойнику. Рядом валялось пустое ведро.

Подойдя ближе, мужики увидели, как широко растеклась лужа меда по траве и за порогом погребца, по митличе – по вороху мелких сухих остатков, намявшихся от луговых трав.

– Прости ты меня, Христа ради! – пуще прежнего заголосила Шура, увидев Ефима.

Тот пришел в ярость:

– Дура долговязая! Зашибу гадину!

Егор, поняв, что дело нешуточное, бросился к Захару:

– Ведь уторкает он ее, а бабе рожать вот-вот...

– Ефим, кому говорю! – что было мочи ухнул Захар. И Ефим, уже было замахнувшийся на Шуру, опустил руку, отошел в сторону, бранясь.

Из дома выбежала Дарья, помогла Шуру подняться, повела в избу.

А Шура, как заведенная, продолжала причитать:

– Какой медок был! Порог-от высокий, запнулась... Худо мне да и мало! Простите вы меня, Христа ради...

– И чего было туда ползать? Понесла она, – незлобно ворчала Дарья. – И сама бы я спустила. С такой пузой в яму полезла!

Подошел Захар, глянул на медовые лужи и, ни слова не сказав, пошел на пасеку за поварней.

И стал выпускать пчел, весело приговаривая:

– Егор, Ефимко, убирайтесь, а то и вас в соты вместо меда перетаскают!

И мужики посторонились. Егор заковылял к своему дому.

XXXIV

Под вечер, когда Ефим и Захар сидели на крыльце и курили, из дома выскочила встревоженная Дарья:

– Захар, схватки начались. Порасстроилась, поди, Шура из-за меда этого. За Агафьей, буди, сбегать...

– Не надо мне никаких ваших Агафей: сама-то Агафья еле ползает. Давай-ко Шуру в баню. Есть там теплая вода?

– Да осталась... Вчера топлено...

– Давайте-ко, да поскорее! И лампу зажги... В бане Шура ревела как резаная. Ефим, страшный и злой, метался вокруг бани, зло сплевывал:

– Чего он там с ней делает?

Но Дарья, сидевшая в сенцах наготове, не пускала его:

– Сам он. Не впервой ему. Позовет, если чего. А ты Бога моли, чтобы ладно все было и чтобы парничок родился.

– Парничок, парничок! – передразнил Ефим.

– А отец-от твой, – продолжала Дарья, – все роды у меня сам принимал, и все как-то, слава Богу, живы, здоровы...

Пуще прежнего взревела Шура. И затихла, словно умерла. И тут же раздался слабый детский плач. И голос Захара:

– Дарья...

Дарья юркнула в баню.

Через минуту-другую вышел потный, красный Захар.

– Парень у тебя. Иди-ко Шуру домой отведи. Ефим ошалелыми глазами смотрел на отца:

– И как ты не боишься... этого...

– Эка невидаль! У коров отелы принимаем, а своих баб боимся! Только вот горластая она у тебя. А ты рожался, так матери твоя не вскрикнула. Иди, говорю...

Но Шура уже сама выходила из бани. Дарья несла завернутого в одеяло младенца. У погребца Шура невольно остановилась, ища глазами лужу меда. Лужи не было! Только две-три трудолюбивые пчелы еще ползали по траве и митличе. И Шура улыбнулась, и измученное лицо ее озарилось счастьем.

Назавтра уже вся деревня знала, что Шура родила парничка.

XXXV

Тревожный ветер российских неурядиц все чаще залетал в далекое Заднегорье.

Как-то поздней осенью после обмолота поехали мужики к Аполлосу на мельницу. Важные такие отправились, довольные: хлеб на славу уродился. Телеги у всех мешками житными груженные. Колеса поскрипывают, кони похрапывают.

А обратно возвращались мужики на простой: ни много ни мало – по мешку на телеге.

Понуро шли кони в гору.

А бабы в это время ниже Подогородцев лен на голые пожни стлали: бойко снопы развязывали да раздергивали, рассыпали по отаве. Значит, стелют бабы, а мужики в гору едут. Невесело едут. И бабье сердце почуяло: неладно чего-то, не такие какие-то мужики.

Дарья спину усталую разогнула, глянула: мать честная! Сноп выпустила – да к Захару.

А тот идет возле порожней телеги, в сторону Дарьину не смотрит, речи ее гневные не слышит. А Нефедко, едущий сзади, ухмыляется, да в Михаила Гомзякова пальцем тычет:

– Говорил я вам, не отсидеться! – и так выговаривает, будто в заслугу себе ставит. Худо будет! Говорил? Говорил. А вот и правда худо. А ему как будто весело, оттого что худо.

Тут и Окулина к Нефедку подбежала, и Ульяна, оставив сноп, к Михаилу кинулась. Бегут бабы за мужиками, спрашивают:

– Где хлеб-от? Куда подевали? Проглотили языки-то? А мужики как шли, так и идут.

Только Нефедко не попускается:

– Война, бабоньки, война!

Тут уж бабы на него набросились:

– Тебе бы только воевать, лень работать-то!

– А вот уж никому бы не пожелал воевать-то... – начал заводиться Нефедко, но Окулина так на него рывкнула, что он оторопел: – Да чего ты, как ошалелая? Солдаты у Аполлоса квартируют...

– Ну и чего? – как будто не понимала Окулина. – Есть, видно, ему чем их кормить да поить...

– А уж пиво-то попивают. Не наши какие-то, вот нас и спрашивают, где, мол, пиво-то берете? А Аполлос им: «Да вот, – говорит, – из рошши». Так хохочут: «Тогда все на рошшу мелите!»

– Хлеб-от, говорю, где? – не отступала Окулина.

– Вот баба неразумная! За хлебушком солдаты пожаловали. По мешку вот нам оставили, а остальное... – Нефедко развел руками и объяснил бабам неразумным, что «ентарвенты» да белые к Котласу прут.

Бабы переспрашивали, одни крестились, другие бранились: «Вот тебе – Бога нет, царя не надо»!

И костили Нефедка, как будто в нем была причина всех бед земных.

XXXVI

Прав оказался Нефедко: в начале декабря засобирались заднегорские мужики в дорожку дальнюю.

Степан Валенков, угрюмый, неразговорчивый, сидел с отцом на передней лавке, курил да поглядывал, как брюхатая Пелагея тяжело ходила по половицам.

Анисья, помогавшая ей собирать Степанову котомку, ворчала:

– То ерманчи, то ентарвенты какие-то! Всем от нас чего-то надо. Царя-то с престола согнали, на Бога-то замахнулись – так вот вам, худо да и мало!

– Ой, не еберзи! – обрывал ее Егор. Но она не унималась:

– На ерманча немного мужиков ходило, а тут, смотри-ко, чуть ли не всех забирают! Чего ино такое? Робить надо, так вы войну придумали, настоящие нефедки, прости Господи!

– Ну уж, конечно, мы придумали, кто еще?! – ввернул Степан.

– Да неужто и правда они на Котлас идут? – не на шутку была встревожена Пелагея. – А может, это и неправда вовсе?

– На Котлас, не на Котлас – а Ефимка тоже берут! – съязвил Степан.

Пелагея села на лавку у стены:

– Не то ты говоришь, Степушка... – А чуть помолчав, опять про свое заговорила: – Да ведь от нас до Котласа-то недалеко. Неужто они в наши суземы полезут?

– Как это недалеко? – удивился Степан. – Сама говорила, ежели щепку в Портомой бросить, то она до Бела моря доплывет, а уж до Котласа – как шутья!

– Да ведь замерз Портомой-то. Какая теперь щепка? Чувствует Пелагея, что не то говорит; ей помолчать бы, да язык не слушается, мелет всякую несурязицу. Бабье сердце заходится: рожать вот-вот, а мужик в края неведомые идти надумался.

Егор в окно глянул, проговорил сдержанно:

– Пожалуй, что пора, Степан. Мужики уж собрались...

– А ты не поторапливай, не на гулянку отправляешь. – Анисья подала сыну завязанную котомку. Тот тяжело поднялся с лавки.

Когда Валенковы пришли к развесистому кедру, там была уже вся деревня. Бабы прощались с мужиками. Степан, скупой на слова, говорил Пелагее:

– Как время придет, тятя тебя в Покрово в земскую больницу отвезет...

Пелагея кивала, утирая слезы. Сели мужики в сани и поехали вниз, Подогородцами, в сторону Покрова.

Бабы голосили.

Шумная ватага деревенской ребятни провожала подводы до заснеженных берегов Портомя.

XXXVII

Тревожные наступили для Пелагеи денечки. Подолгу стояла она под образами, за Степана молилась. Слезы-горошины по возбужденным щекам катились.

А ночами ей не спалось. Непривычно одиноко было в постели. И дитятко-озорник так пинался, что живот ходуном ходил. Гладила его Пелагея ласково, утихомиривала непослушника речами нежными. Вставала с кровати, подолгу сидела на лавке у окна, глядя сквозь морозные узоры на утонувшую в снегах деревню.

После Рождества Христова почуяла Пелагея, что пришло ее времечко, свекровушке о том поведала. Анисья послала Егора Синюху запрягать, а когда он в избу вернулся, рукой замахала:

– Беги-ко за Агафьей, схватки начались. И побежал Егор к Агафье.

А та не владиет вся, недели две уж из дому не выходит. Егора выслушав, забранилась, запостукивала бадожком о пол:

– А чего тянули? – И тук-тук в некрашенные половицы. – Чего в Покрово не увезли? – И опять нервно и властно: тук-тук! – К Захару теперь уж бежите, больше не к кому...

И бросились Егор с Анфиской к Захару. И тот не соглашается.

– Да ведь ты у Дарьи все роды принимал, – упрашивала Анфисья.

– Ну уж ты сказала! У своей бабы я каждое место знаю. Бок о бок сколько годков прожили, друг без дружки не сыпали...

– Ты и у Шуры принимал. Неужто и с Шурой бок о бок спишь?

– Ну, бок не о бок, а тоже не чужая.

– Да чего ино такое? Да есть ли на тебе крест-от? – запричитала Анфисья.

И в слезы.

Не выдержал Захар.

Уж чего-чего, а слез бабьих не терпел.

– Да не венгай ты! – И набросил на плечи тулуп. И дверью хлопнул.

В тот зимний день родила Пелагея мальчика. Не кричала, не верещала, легко опросталась.

Анисья Захара благодарила да угощала щедро: они с Егором долго бражничали, о жизни шумели да мужикам молодым, Ефиму со Степаном, молили скорое домой возвращение.

XXXVIII

После рождения внучка Анисья еще ближе сошлась со снохой. Долгими зимними вечерами они говорили без умолку. Поля качала зыбку³³, думала о Степане да слушала бесконечные свекровкины рассказы под глухой скрип очепа. Анисья пряла, бойко работая руками, да о радостях своих бабьих сказывала:

– Мне до сих пор памятно, как я Степу рожала. Взялась я в то утро печь растоплять. Тут-то меня и завсбельхивало, заполамывало. Деться не знаю куда. Егор-от и говорит: «Ляг, остепенись». Какое там ляг – ломает всю, в поясницу бросается, спасу нет. Беги-ко, говорю, Егор, за Шуриком. Шурик-от уж неделю у Евлахи жил. Огнийке тоже время рожать пришло. Евлаха Шурика и привез из Покрова. Вот уж не знаю ни фамилии его, ни отчества. И все так звали

³³ Зыбка – деревянная люлька, которая подвешивалась в избе к концу длинного упругого шеста (очепа). Очеп крепился на потолке – вдевался в кольцо, вбитое в потолочное бревно.

его: Шурик да Шурик. Фельдшер покровский. И где он теперь, не ведаю. Бабы его любили. Чуть чего – за Шуриком. Вот уж христовы рученьки: проведет рукой по тебе, по груди, по животу, – и где-то сразу полегче. Не было случая, чтобы бабы при Шурике тяжело рожали. Ну вот, побежал мой Егорушко. А Шурика-то, напокась, у Евлахи не оказалось. Евлаха ему баню истопил. Ушел Шурик в баню. Мой Егорушко под пригорок, к бане: «Шурик, долго ли мыться будешь? Ты моей бабе нужен!» Оставил Шурик шайку, вышел из бани – на шее полотенце – так и ко мне пришел: «Ну, как, молодая, дела? Есть ли в доме горячая вода?» А чего молодая – места не находит. Пока Егорушко бегал – вся перемучилась. И садилась. И ложилась. Думала и на колени встать. Дай, думаю. Мати-то у меня всех шестерых на коленях рожала. Попробовала и я. Да ребенок-от уж пошел, не дает на колени встать. Лежу, причитаю: «Ой, болько, ой, не буду больше с Егорушкой спать, ой, не буду...»

Поля смеялась, а Анисья сказывала с еще большим воодушевлением:

– Ору как ненормальная. А Шурик-от, христовы рученьки, подошел ко мне, приговаривает: «Не будешь, значит, с Егорушкой, не будешь? Ну-ну...» И так легонько два раза провел по мне, на живот где-то легонько дакнул, тут я и родила. И ребенок сразу голосок подал. А я лежу ни жива ни мертва и все одно лепечу: «Ой, не буду больше с Егорушкой...» А Егорушко молчит. Чего скажешь? Баба отказывается. Шурик ребенка в простынь завернул, подает Егору: «На, почелуй, твой». А тот отворачивается, хмурится. С Шуриком я встретила, поди, лет через пять, на ярмарке в Покрове. Узнал. Улыбается: «Ну, Анисья, не спала больше с Егорушкой?» Да как, говорю, не спала, троих еще родила...

Анисья тяжело вздохнула:

– И все парнички были, да всех Бог прибрал, один Степан остался. Хоть бы скорее он воротился да сыночку порадовался. Все сердце о нем изболело. А ты, Полюшка, легко рожает, тебе и рожать...

– Захару спасибо, и у него рученьки-то христовые, – отозвалась Поля. Думала она о чем-то своем, далеком, да слушала свекровушку свою.

А та не попускалась – дивилась Захару:

– Не зря Дарья сказывала, что он только на рожу страшен, а как рукой дотронется, так и таешь вся. А ведь раньше он к чужой бабе не ходил: хоть рожай, хоть помирай. Нет, и все! А тут, на-ко! Я глазам не поверила: явился, голоском Шуриковым обратился: «Где молодая твоя, есть ли в доме теплая вода?» Люба ты ему, не ухмыляйся.

Пелагея словом не обмолвилась, но и улыбку озорную не спрятала.

XXXIX

Удивительно, но в конце февраля – начале марта заметно удлинился день. Опять запахло весной.

Презрев смуту российскую, народ заднегорский шумно праздновал Масленицу. Мужики изладили под кедром катушку, шесты в нее вморозили. И каждый день толпились здесь парни и девки. Всем покататься охота: на один шест девка становится, на другой – парень. За руки схватились – и поехали! Шум, смех, крик! Одна пара за другой скатываются, падают, давят друг друга. Иной нахальник ртом горячим в щеку девичью ткнется да с большой затрепиной снова на катушку заворачивается.

Но мало народу катушки! Парни вытащили на самую круть заднегорскую большие сани. Уселось в них десятка два парней и девок. И – поехали! Дух захватывает от такой крути. И до самого Портомоя доехали бы, да в Подогородцах наскочили на какой-то бубень. Сани завалились, и все цветастое да горластое в снег белый вывалилось. Забарахталось, заотряхивалось. И опять в гору полезло. Кататься так кататься!

Деревенская ребятня на санках и лыжах съезжала с угора в разные стороны. Ох уж и помяли снегу за Масленую неделю! А по прошествии ее, в понедельник, опять вышли кататься – кости собирать: кто ведь как, благословесь, за неделю покатался. Многие под угором кости оставили – перевернулись, ям в снегу наделали. Не собрать никак нельзя. Парни сани на круть вытащили и надумались ехать с угора к логу, где дом Парамона стоял. А уж было темненько. Агафья спать укладывалась, молилась да крестилась. Не знала, что полные сани парней да девок на избу ее катят. А сани разнесло – не остановить, не отвернуть. И не миновали они избяной угол. И так это состукало, что показалось Агафье, будто избу с места сдвинули. И Анфисья вся перепугалась, волосаткой на улицу выскочила, а там смех да крик. Парни сани от избы отволакивают. Тут хоть бранись не бранись – Масленица!

XL

Об этом Агафья на следующий день Анисье так сказывала:

– Чуть ведь угол не свернули! Мало им угоров-то... Анисья отвечала, гремя ухватом у печи:

– Иду я утром на колодец, – и чего это, думаю, Евлаха матькается на всю улицу? А сани-то под угором его, Евлахины! А сам-от весь опух, в синяках во всю личину...

– Им с Нефедком мало деревни показалось, коней в кошёвки запрягли, баб насадили, покатили в Покрово. Эх, кто мы такие! И ведь Ленька Котко за ними увязался.

– Ну уж нашли драчуна, – засмеялась Анисья, – махнуть-то рукой не знает как, только царапается да кусается...

– Не зря Котком-то зовут! Вот покровцы их и намякали.

– А надо бы и уторкать, шибко задавалистые, – приговорила Анисья.

Агафья заговорила с молодой хозяйкой, вышедшей из передней избы:

– Вот Поля тоже любила в девках-то покатаваться, а теперь Феденька привязал.

Поля отвечала сдержанно:

– Феденька у нас спокойный, слава Богу, насосется и спит.

– А Михайло-то ходит ли к вам? Не шибко ему, Поленька, было любо твое замужество.

– Мне тятенька новый рог изладил, с соской! – На слово «тятенька» Поля особенно нажала голосом: ей были неприятны Агафьины выпрашивания.

– Стало быть, не шибко Михайло осерчал. А ты, я вижу, тоскуешь. Я ведь, Поленька, без Тимофея места себе не находила: он часто у меня в ямцину ездил. Уедет, вот я и маюсь. Чуть чего состукает – на улицу выскакиваю: не Тимофей ли приехал? Вот ведь сколько ума-то было. Недавно он мне приснился: землю под окном копает. «Не мне ли, – говорю, – могилу роешь? Да и пора бы уж, ко сту поворотило». «Нет, – говорит, – долго тебе еще землю топтать». И опять про пихту: «Посажу, – говорит, – под окном...» Может, и правда посадить? Поля пожала плечами.

– А ты, Поленька, на меня сейчас маленько осердилась, – продолжала Агафья, – а ведь худа я тебе, девонька, не желаю. Да и обида-то в твоём сердце недолго держится, скоро выскакивает. Вот ты уж и хохочешь...

– И мне Степан снился, – призналась Поля, – но какой-то неятный, непонятный, молчаливый, как чужой, не мой, далекий такой, не ухватишь. Проснулась – и до утра уснуть не могла. Феденька посапывал, а я лежала, как ненормальная, хоть реви...

– А чего ко мне не приходила? Пойдем-ко, я тебе сделаю. – Агафья поднялась с приступка, ойкнула, схватившись за поясицу. – Ишь как! Худо ходят ноги-те, совсем, окаянные, запритворялись!

Они прошли в переднюю избу.

Агафья усадила Полю на скамью. Нагнувшись над ней, что-то долго шептала.

Поля разомлела. Глаза ее закрылись. Она словно уснула. Ей и самой казалось, что она спит, но шепот Агафьи слышит. И так хорошо. Сладко. Покойно.

– Два раза ко мне еще придешь, – громко сказала Агафья, и Поля открыла глаза и с минуту сидела так, не желая двигаться.

А Агафья, улыбаясь беззубым ртом, сказывала:

– Когда Окулина проводила Нефедка на войну – целую неделю спать не могла. Раз ко мне пришла, два, а после третьего учудила: утром коров уж в поскотину проводили, а она все спит! Аника с Венькой под утро с гулянок явились, тоже протягуются. Раз матери не будит, ну, думают, так и надо! А матери сама спит без ног! Так коровы-те день в стае простояли. Аника с Венькой в зобнях им траву носили.

Проснулся Феденька.

Поля взяла его кормить.

– Ну, давайте к нам ходите. Поплетусь-ко я, пожалуй, шибко чего-то до ветру захотелось...

– Ну вот! – только и сказала на это Анисья, а когда гостья вышла, принялась ее нахваливать. – Агафья-то много знает. Как-то и я до нее ткнулась. Отелилась у нас корова и к себе не подпускает, уж не подоишь. И теленок-от какой-то нюхлый, не ест ничего. А Агафьины шепотки помогли: пришла я доить, а моя Пеструха как мертвая, хоть соски оторви – не шелохнется. А теленок-от как стал есть – умора! Пьет, пьет из ведра, а потом еще и на коленки встанет – допивает, долизывает...

Поля сказала недоверчиво:

– На коров-то, может, и действует, а вот брату Евлахиному Ксанфию не помогли Агафьины заговоры...

– Так ведь с детства не ходит Ксанфий-то! Так и не ступил на ноженьки. А Аника у Окулины Нефедковой? До четырех лет слова от него не слышали, одни мы-мы. Несколько раз Окулина его к Агафье водила. Вот как-то раз дверь они открывают – Аника за порог, да и сказанул: «Бабушка Агафья, послушай, как я разговариваю». Окулина-то тут, под порогом, и грохнулась. С ней отводились. А Аника от Агафьи и домой не идет, у тебя, говорит, бабушка, буду жить, а то я дома не буду разговаривать... И каждый день к Агафье бегал. Разговаривать. Теперь вот вырос и забыл, поди...

Феденька, насосавшись груди, сосок выпустил и заснул. Поля осторожно положила его в зыбку, села поближе к свекрови и слушала ее, глядя в окно: на улице Агафья, опершись на бадожок, разговаривала о чем-то с Егором, коловшим у амбара дрова.

– Вот так же Агафья как-то пришла ко мне, – продолжала Анисья полупшепотом, чтобы Феденьку не разбудить, – было это еще до вашей со Степой женитьбы. Говорит: «Запоперечило Парамону дороженьку домой, как бобочки не раскладываю, не освобождается серединочка». Я уж Егору о том и не сказывала. И теперь вот охота на Степана погадать, а боюсь: мало ли чего наворожит, потом и думай, не спи ночи-то, никакого покоя нет. Но, может, Бог даст, все как-то образуется.

XLI

Как ни отговаривала Анисья, Поля не утерпела: под вечер побежала к Агафье. Было еще светло. Вся деревенская ребятня была на улице.

На задворье Анфискиного дома стоял воз сена. Анфисья проворно хватала сено вилами, поднимала над головой и пихала в открытую дверь повети, где навильник сена тотчас исчезал: старший сын Анфисьи, Петр, помогал матери отмётывать, а младший, Сережа, которого все звали Серьгой, бегал вокруг воза, маленькими грабельками сгребал в кучки хохлаки сена, нападавшего на снег. Мать кучки подхватывала и забрасывала на поветь.

Поля с удовольствием потянула воздух: вкусно пахло сухим зеленым сеном. Летом. Сенокосом. Не окликнув хозяйку, Поля юркнула в крылечную дверь.

Агафью она застала сидящей на лавке у окна. Вкрадчиво, полушепотом объяснила, зачем пришла.

Агафья долго отнекивалась да на невладинье жаловалась, но Поля была настойчива, уговаривала слезно.

– Наговорила я тебе сегодня всякой всячины, ты и поверила. – Агафья поднялась, опираясь на бадожок. – Ладно уж, коли пришла, только ты всякое дикое-то в голову не бери.

Из низенького комода она достала мешочек с бобочками, маленькими хлебными сухариками. Села за стол. И Поля придвинула свой табурет, не сводя глаз с рук Агафьи: та высыпала бобочки из мешочка, пересчитала их. Сорок один. Почему именно столько, хотела спросить Поля, но отчего-то побоялась.

Агафья неторопливо бобочки перемешала, шепча что-то, и на три кучки разделила. Следя за Агафьиными руками, Поля думала сейчас о том только, чтобы дороженька Степану выпала легкая, скорая.

Ей казалась, что вот сейчас, в эту минуту, все решится, что эти неказистые, безжизненные и такие обыкновенные кусочки хлеба скажут что-то важное и необыкновенное, что именно сейчас, может быть, начнется новый отсчет томительных минут ее жизни.

Руки Агафьи старчески подрагивали, и в душе Поля все тряслось и покачивалось. А между тем руки эти отложили в сторону четыре сухарика от первой кучки, потом еще четыре; оставшиеся два передвинули в верхнюю часть стола; от второй кучки руки также отделили четыре бобочка, а оставшийся один положили в ряд с первыми двумя. От третьей кучки Агафья дважды отложила в сторону по четыре бобочка, оставшиеся два вверх передвинула: образовался первый ряд из трех кучек. Все оставшиеся сухарики Агафья смешала и вновь на три кучки разделила, и от каждой опять стала откладывать по четыре бобочка: она делала это до тех пор, пока в кучках не оставалось по четыре бобочка или меньше четырех. Образовался второй, параллельный первому ряд из трех кучек: в первой – два бобочка, во второй – четыре, в третьей – два.

Когда Агафья, не глядя на Полю, в третий раз смешала оставшиеся бобочки, Поле показалось, что ворожба длится бесконечно долго, что, наверное, это никогда и не кончится. А Агафья вновь разделила бобочки на три кучки и вновь от каждой неторопливо принялась отделять по четыре бобочка! В первой остался один, во второй – четыре, в третьей – три.

И этот, третий ряд кучек, она придвинула к двум первым. Оглядела это маленькое, уставленное кучками пространство, прикинула что-то про себя, по-старушечьи скупно улыбнулась и впервые взглянула на Полю. У той в душе все похолодело.

А Агафья, отчего-то очень довольная, стала раскладывать бобочки от среднего вертикального ряда по сторонам. Один бобочек, лежавший в середине верхнего ряда, остался ею нетронутым. Во второй средней кучке было четыре бобочка: два ушли влево, два вправо; на сторонах в этом ряду образовались кучки по четыре бобочка – середка освободилась!

И Агафья опять взглянула на Полю. Та, все еще ничего не понимая, испуганно хлопала глазами. Четыре бобочка лежало и в последней средней кучке, а на сторонах: слева – один, справа – три бобочка. К трем Агафья добавила один, получилось четыре – больше не добавишь, а к одному присоединила оставшиеся три. Середка освободилась!

И Агафья объявила, что у Степана все будет ладно и хорошо.

Но Поля, казалось, не поняла ее слов, она как будто не сразу их услышала; они летали где-то, кружились над бабьими головами, но когда, наконец, достигли Полиного сердца, она вся преобразилась, печать тревоги слетела с лица, и сделалась она вдруг той озорной, веселой, какой ее знали в девичестве.

Поблагодарив Агафью за вести добрые, она выскочила на улицу и побежала тропинкой к дороге, проваливаясь в мартовском снегу...

XLII

К середине апреля долгими стали белые вечера.

Красное солнце уходило нехотя, цеплялось длинными лучами за бревенчатые стены, заливало золотой краской многочисленные щели и щелки в бревнах.

Даже старые избы казались новыми, только срубленными: так старухи кажутся молодыми после жаркой бани.

Деревенская ребятня играла в этих закатных лучах в продольного, не уходя с улицы до самых потемок: под заднегорским кедром давно было сухо.

Апрельский снег мутными потоками сбежал с угоров, лишь кое-где в лощинах да логах под крутыми паберегами еще белели снежные рукотертники, но они с каждым днем уменьшались в размерах, уходили тальми водами в оттаявшую землю.

С утра и до позднего вечера во дворах бродили куры, козы. Только недовольные коровы протяжно, жалобно мычали, полувысунув морды в узкие окошки стай...

XLIII

В субботу, накануне Вербного воскресенья, бабы наломали веточек вербы, густо растущей по берегам Портомоя. Назавтра ранехонько обрядились по хозяйству, набасились и отправились в Покрово.

День занялся солнечный, теплый. Радостный.

Пришли в Покрово. К церкви приблизились.

И солнце вдруг пропало, угрюмым храмом заслоненное; массивные церковные двери были закрыты наглухо. И вокруг церкви – никого. Покровцы словно попрятались, схоронились, забыв, что сегодня праздник.

Бабы оторопели. Заойкали. Закрестились:

– Чего ино такое диется?

И, встревоженные и растерянные, поплелись к Аннушке, тетке Егора Валенкова, что жила неподалеку от церкви в низеньком, припавшем к земле домишке.

Пришли. Аннушка встретила их радостно, как всегда встречала прихожан, с сердечным участием. И поведала тихим, ласковым голоском, каким только что читала молитву, что церковь закрыла новая власть, что будет там клуб. Что это такое – клуб, Аннушка объяснить не могла. И велела идти к батюшке, который, по ее словам, все и растолкует.

Бабы, помолвившись вместе с Аннушкой, отправились к отцу Никодиму. Тот, приняв их, объявил, что службу проведет, если они, бабы, принесут разрешение от властей.

Совсем сбитые с толку, бабы отправились к зданию волостного правления, где ныне находился волостной Совет. Там, несмотря на воскресный день, они нашли человека. Моложавого. С зачесанными назад светлыми волнистыми волосами. Человек разбирал бумаги на столе у окна.

Бабы объяснили, зачем пришли. Человек угрюмо выслушал их. И заговорил. Из его слов православные поняли только, что про церковь и Бога он говорит плохо. Нехорошо говорит. Вербные ветки называет то сучьями, то прутьями. И так это громко, гневно!

С мгновение бабы, пораженные речами неслыханными, стояли, как окаменевшие, но, очнувшись, напомнили человеку, зачем пожаловали.

Человек, поняв, что речь его не дошла до бабьих сердец, махнул рукой и, склонившись над столом, написал что-то на клочке бумаги. Бабы откланялись.

И скорехонько – к отцу Никодиму. Тот долго разбирал неразборчиво начертанное, наконец, аккуратно свернул бумажку и пошел готовиться к службе...

XLIV

...И для Ксанфия наступили счастливые денечки: в Пасху, в светлый и радостный праздник торжества жизни над смертью, брат Евлампий вынес его на улицу, посадил под окно.

Бледный, худой, с впавшими щеками, Ксанфий с наслаждением втягивал свежий воздух, наполненный запахами оттаявшей земли, радовался яркому солнцу. На лице его застыла улыбка: открыл Ксанфий рот и, оглядывая мир пасхальный, забыл его закрыть.

Но вот он задрал голову так, что небо, синее-синее, оказалось совсем рядом, легло на глаза, навалилось всей своей безмерной синью.

Опустил Ксанфий глаза в землю, потер их рукой и стал наблюдать за двумя козлухами, что у изгороди глодали кору вербы. Вот одна коза другой козе не понравилась, куст подружки не поделили. Отскочили в сторону и принялись биться рогами-головами. Дурехи! А бились-то со знанием дела: обе, как по команде, на задние ноги приподнимались и лоб в лоб ударились.

Побились-поколотились и опять разошлись куст глодать. Одна гложет. И другая гложет. Ксанфий наблюдает.

Он любил коз. Особенно любо было ему, как аккуратные козы мордочки едят, губами перебирают. Часами бы глядел.

Но вот, дурехи, опять биться излаживаются. Поднялись – и лоб в лоб. Только рога звенят...

XLV

– Ну вот, слава Богу, и ты на улицу выехал. – К Ксанфию привернул Ленька Котко, живший через два дома от Евлахи. – Христос воскрес! – Ленька присел на завалинку.

– Воистину воскрес! – перекрестился набожный Ксанфий, не взглянув на Леньку.

Тот тяжело вздохнул:

– Вот тебе, брат, и праздничек! Муторно на душе. Чужал ли, в Покрове-то... – Леньке, видно, не терпелось пошуметь о своем, сердечном, и подбирался он к Ксанфию, нащупывал: может ли Ксанфий поддержать разговор душевный?

– Да, чужал... – отвечал тот, и смотрел он сейчас не на коз, а вдаль, туда, где у высоких качель под кедром собралась густая толпа молодежи. Сюда долетали смех и крик.

Копры качель глухо поскрипывали. Два парня за веревки, привязанные с боков, качели раскачивали. На них сидел Афоня Осипов с дочерью Васьки, недоростком Нинкой. Чем выше качели поднимались, тем страшнее было – у Нинки дух захватывало!

– Моя-то в прошлое воскресенье пришла из Покрова, – продолжал Ленька, – вербу за иконы засунула и молится – не попускается. Обрядилась – и опять в угол, под иконы. Потом где-то отошла, поуспокоилась да и говорит: «Знамение страшное! В день Входа Господня в Иерусалим нас, грешных, в храм не пустили...»

Кто-то из молодежи подал качающимся подаровку – уледь, да, видно, неловко.

Сразу несколько голосов кричали:

– Подавай как следует! Куда бросаешь? Лапоть возьми – летит дальше!

Нинка протестовала:

– Не надо лапоть, пинать болько! А Ленька не умолкал:

– Всю неделю моя баба как чумная ходила. А вчера надумалась да опять в Покрово поползла...

– Наши бабы тоже ходили, – отозвался Ксанфий.

– Ходили! А в храм-от и не попали. Батюшка дома пасхальные яйца освящал...

– О-о-о! – неслось от качель. Это Афоня ловко подцепил подаровку, полетела она высоко, далеко! Парни бросились за ней. Толкаются. Лбами стучаются. Кто-то ухватил – побежал снова качающимся подавать.

– А этим хоть бы что! – не мог успокоиться Ленька. – До Портомоя готовы уледь запнуть. А у меня на нутре чего-то нехорошее копошится...

– Да ты, Леня, всегда такой, копошащийся да пужливый, – незлобно говорил Ксанфий, и на него, как на Божьего человека, Ленька не обижался. – Мужики вон, сказывают, в Масленицу с покровцами схлестнулись; все дерутся, а ты в ноги падаешь да за яйца мужиков хватаешься, прости Господи...

– А уж хвачу – так и жись прощай! Ксанфий вздохнул да перекрестился.

Уледь опять высоко взлетел в синее небо. Поймал его Ванька Гомзяков, братец Полин. И к девкам побежал, что в стороне стояли да похохатывали, глядя, как парни за подаровку сражаются.

Подошел, значит, Ваня к девкам и Любу Шенину позвал качаться. Ленька аж рот открыл: выросла Любка его, парням уж головы мутит!

Ксанфий захохотал:

– Уведет он у тебя работницу!

– Да с Михаилом не грех и породниться.

А Люба улыбается, цветет, к качелям с Ванькой подходит. Вот уселась, подобрвав подол. И ухажер рядышком пристроился.

А Афоня с Ниной, слезшие с качель, принялись за веревки новую парочку раскачивать.

И смеется Любка, и пинает поданный ей уледь, и летит он далеко под пригорок...

– Что ты будешь с дурехами делать! Опять бодаются! – Ксанфий указал на козлух, что посреди дороги бились крепкими лбами.

– А-а-а... – протянул Ленька, не понимая и не разделяя Ксанфиевых радостей и сожалея, что сердечного разговора не получилось...

А молодежь продолжала веселиться. Высокие качели скрипели до потемок...

XLVI

В середине мая в деревню нагрянули уполномоченные за хлебом.

Незнакомые мужики выносили из амбаров мешки с зерном и грузили их на подводы под бабы причитания.

Во дворе Осиповых стоял запряженный Гнедко.

Захар недобро шурился, но благоразумно помалкивал.

Лишь Дарья не могла сдержатъ гнева своего:

– Сев ведь на носу, а вы, смотрите-ко, удумали! Уполномоченный же, невысокий, широкоплечий, крепкого телосложения мужик объяснял ей необходимость хлебозаготовок, но Дарью речи его не вразумляли.

– Сын у меня воует, кровь проливает!..

– Воует не у тебя одной, – сухо отвечал широкоплечий, – да ведь еще неизвестно, за кого он, сын твой, воует.

– За Родину он, за Рассею он! За вас вот, за таких вот!.. Мужик кольнул ее взглядом.

– А за кого надо-то, чтобы Ефимко-то... – подал голос осмелевший Афоня, что стоял у погребя и угрюмо наблюдал за происходящим.

– За красных, – торжественно сказал мужик, – за революцию, за будущее наше светлое!

Вот надо за кого, чтобы Ефимко-то ваш...

– Так он за это, за красных за этих... – уверенно сказал Афоня.

Мужик лишь хмыкнул, подошел к подводе, проверил, надежно ли привязаны мешки. Когда подвода отъехала, Дарья забранилась пуще прежнего, да хлебушек-то уж не воротишь!

Гнедка у Осиповых забрали совсем. Любимчика деревни, Ванюху, Дарья отстояла.

XLVII

Когда гости незванные свернули к дому Леньки, тот, давно уже чужавший беду, метнулся к амбару, заслонил телом выгоревшую на солнце дверь.

Один из уполномоченных, высокий, худощавый и неразговорчивый, остановился против Леньки, неторопливо расстегнул кобуру, вытащил револьвер и ткнул дулом в тощую Коткину грудь.

Но Ленька стоял, не двигался. Тогда неразговорчивый ткнул еще раз, резко так, прямо в кость попал и сказал коротко: «Застрелю!»

И Ленька почувствовал, что ног у него нет, их словно чем-то острым оттяпали – и повалился он под амбарную стену, в глазах туман.

Сквозь него видит Ленька, как усердствуют гости непрошенные. Он силится кричать, пробует подняться – и ничего не может, беспомощный, как во сне.

Наконец, подвода отъехала от Ленькиной избы. На улицу выбежали перепуганные Ленькины бабы. Пока приезжие зерно грузили, бабы показаться боялись. Подхватили они Леньку под руки, поволокли домой. А он ноги не подставляет.

Вскоре уж все в деревне знали, что с Ленькой случилось чего-то неладное. Набожный Ксанфий особенно глубоко переживал, узнав, что и Ленька обезножил.

Только недели через три после случившегося Ленька стал приподниматься. Попытался было встать, но приступить на правую ногу не мог: ее подтянуло, полусогнуло, и как он ни силился – нога не распрямлялась. Агафья чуть ли не каждый день приходила к нему, гладила ногу и растирала какой-то мазью, и баб Ленькиных учила – у самой-то владинья не стало, руки не понесли. Растирания и Агафьины шепотки подействовали: хоть и не разогнулась совсем, но до земли нога стала доставать, и на нее приступить можно было...

XLVIII

Только через три года воротился в деревню Степан.

Переступил порог родного дома и оторопел, увидев белокурого мальчугана, что бегал по желтому, хорошо промытому полу. Сбросив шинель, под радостные ахи да вздохи бабы протянул Степан мальчугану руки:

– Ну что ты? Ну? Иди же ко мне...

А сынок, испуганный и смущенный, побежал к матери, спрятал голову в складках грубой портняной юбки. Поля взяла его на руки:

– Ну что ты, Феденька, это же твой папа. Ходил он на войну, а теперь вот, слава Богу, к нам воротился...

И она, счастливая, стала обсказывать Степану, как последние дни надоедала Агафье:

– Раскладывает она свои бобочки, а я вся дрожу, трясется чего-то внутри, как студень какой-то, аж в брюхе болько...

Счастливая, но, как всегда, ворчливая Анисья то и дело перебивала сноху:

– До того довоевались – ребята-то вас, христовых, опознать не могут...

Степан и правда все еще не мог прийти в себя, повторял, как заведенный:

– Феденька, Федя, – словно хотел привыкнуть к незнакомому имени.

– Ты бы хоть рассказал, где да с кем воевал, – сдержанно говорил Егор, ерзя на передней лавке.

Анисья же, бойко собиравшая на стол, непутевого своего урезонивала:

– Дай ты ему раздеться-то! Да баню надо затопить... И сам Степан отвечал отцу без особой охоты:

– Был и в Котласе, и в Архангельске. А это уж правда, если щепку в Портомой бросить... – и он не договорил, взглянул на улыбающуюся Полю. – И до Мурмана мы дотопали; на наших глазах беляки да англичане на пароходы грузились...

– А сам-от ты кем был? – пытался Егор разобраться в политике.

– К красным был причислен.

– Стало быть, к новой власти. Сказывай тогда, как дале жить на земле этой будем?

– Власть новую надо крепить. – Но какими-то не своими, чужими словами объяснялся

Степан.

Поля насторожилась, еще крепче прижала к груди Феденьку.

Анисья свернуть не преминула:

– Это еще какую такую новую? Не ту ли, что в Покрове завелась? А знаешь ли ты, как мы в Пасху в церковь ходили да к этой самой власти в руки угодили? В храме Божьем какой-то клуб устроили. Уж дичая-то не придумаешь!

– Ты, мать, как контра рассуждаешь. – Ну резанул Степан – задел за живое.

– Чего это я по-твоему? Ты уж, буди, матькайся, так по-нашему!

– Бога-то нет, попы обманывали... – И все – не то, не свое, чужое, не Степаново.

И у Поли похолодело в душе.

А Анисья закипятилась – забыла, что сын с дороги:

– Еще один Нефедко объявился! Бога у них нет, власть покровскую им надо крепить! А знаешь, сколько она зерна выгробла? У Захара вон да у Котка спроси. У нас-то и взять нечего – а мешок увезли...

– Война была. Теперь все наладится...

И Поле хотелось, чтобы наладилось. Мужик вот вернулся. Наконец-то. Родной. Долгожданный. Но прислушивалась она к речам его и не верила, что это он и есть, Степка ее. А Степан, уставший от дороги и расспросов, за накрытый стол сел и опять руки к Феденьке протянул:

– Ну, дак чего? Пойдешь ко мне? Иди, не бойся... Но Феденька по-прежнему прижимался к материнной груди, отворачивал от отца маленькую головку.

II

Прошло три года.

Федька Степанов подрост. Подрост и Борька Ефимов. Друг с дружкой они не ладили. Как встретятся – спор затевают, а то и драку. Так вот однажды сцепились у нового Ефимкового дома. Борька хвастался:

– Мы скоро сюда жить перейдем. Федька не соглашался:

– Да у вас там еще полов нет и печей.

– Чего это нет? В одной-то избе есть и пол, и потолок, это в другой нету-то, пока... А скоро мы печь бить будем. Кабы папка на войну не ходил, так давно бы дом-от доделал, – рассуждал Борька – передавал чьи-то взрослые разговоры.

Тут Ефим крикнул сына:

– Пойдем-ка веник деду наломаем. Подсобишь – хоть лишний комар на тебя сядет, и то ладно...

И Борька побежал за отцом к малежку, что стоял за Осиповской поварней. Увязался за ними и любопытный Федька. В малеге Ефим внимательно оглядывал молодые березки, трогал их руками и даже пробовал обратную сторону листа языком. Борька широко глаза открыл:

– Ты чего, тятя, все березы лизать будешь? А почему это?

– А ежели как не то наломаем, то дед нас домой не пустит. – Ефим подал сыну березовую ветку. Тот лизнул лист – гладкий!

– А у этой?

Боря лизнул лист и с другой ветки и сморщился:

– У-у-у, шершавый какой... Отец смеялся:

– Лист-глушник, потому и шершавый.

– А почему глушник?

– Потому что с глухой березы.

– А почему она глухая?

– Потому что веники с нее дед наш для бани не ломает, не любы они ему, с листьями-то шершавыми...

Измученный Федька побежал в деревню. Матери принес он весть, что Осиповы в малеге лижут березы.

Л

В середине августа заднегорские мужики подались в лес сторожить кулиги, засеянные ячменем. Зайцы повадились ходить и много ячменя посекали.

Пришла Поля навестить своих, еды принесла, в лог за водой сбегала да к приметному местечку привернула. Нисколечко не удивилась, увидев там Ефима: он уж неделю жил в лесу. И Ефим, куривший на старом березовом пне, поднял на нее черные глаза безо всякого удивления: будто промеж них оговорено было все заранее, и встретиться они должны были непременно здесь, у места, ими однажды обозначенного. Поля потрогала ногой старую березу, валявшуюся в высокой траве. От ствола отстала полусгнившая кора. И молвила она о том, что ей ведомо, а что неведомо – озорную девическую пору вспомнила:

– Знаю я, Ефимушка, что вы с сыночком в малеге под деревней все березки молодые перелизали-перечеловали! Неужто с Шурочкой своей не любы стали тебе милованья-целованья?

Он страшно зыркнул на нее. А она словно не заметила в глазах его огня гневного.

– А еще ведомо мне, что Афонька у вас жениться собирается, Нинку берет, и крепко же вы с Васькой породнитесь! Велик дом Захаров, да тесновато вам будет: ежели как все ребят нарожаете, так ведь и испридеретесь! Али ты в новые хоромы переходить собираешься? И то еще ведомо мне, что дарка, из свалка здешнего излаженная, до сих пор справно вам служит. И ты, гляжу я, памятливый оказался, пенек березовый не забываешь...

– Зря ты за Степку выскочила! – вдруг резко сказал Ефим. – Все еще тебе аукнется!

– А мне, Ефим, может, только того и надо: по краюшку, по краюшку! Знаешь ли ты, как сердечко ёкает да в нутрях все качается, когда по краюшку-то ступаешь? – Поля нагнулась, разглядывая что-то в траве: – Яма какая-то. Ране как будто ровно-ровнехонько здесь было...

– Отец мой выкопал, – глухо отвечал Ефим, – зерно прятал в гражданскую...

– Ах вон оно что! Ходили всякие разговоры. И Евлаха куда-то возил на кулиги, да, скаывают, запамятовал место – пахать-то начал и распорол мешки. А вот как это Захар уготовал в наше с тобой, приметное – то уж мне незнамо-неведомо! Да и то верно, место здесь сухое, от дороги недалекое...

Ефим вдруг поднялся, схватил ее за плечи. Она ловко вывернулась да хохотком звенящим по березнику высокому рассыпалась.

И долетали из-за берез слова ее хлесткие:

– Ох уж и лапы у тебя, Ефим, а вот у тятеньки твоего – христовы рученьки, и до сих пор мне памятни, и Шуре твоей, думаю, они ласковы. Молодчина она у тебя, опять беременна. И знамо-ведомо мне, что двойню она принесет, двух девок. И ты, Ефимушка, обрадуешься им, девкам-то.

– Какой в них прок, в девках-то. Не каркай!

– Обрадуешься! Обрадуешься, Ефимушка...

– Ведьма! – процедил сквозь зубы Ефим, и страшен был взгляд его.

LI

Поля осталась в лесу ночевать. Накопала картошки, что была посажена на кулигах вокруг невыкорчеванных пней, наварила щей.

Егор, правда, поворчал на сноху:

– Молодая еще картошка-то, к жатве оставьте, хоть из дома не волочить...

Поворчал да успокоился.

Наступила ночь. Улеглись Валенковы в шалаше. Вздремнули. Первым проснулся Степан, прислушался, из шалаша голову высунул – и мурашки по телу побежали! Загоготали, зашумели по-своему, по-звериному, дикие звери и пошли – да так много, да все серые!

Степан спросонья не разобрал, кто такие – все большие да крупные – заорал:

– Тятя, овчи! Это овчи!

Выскочила из шалаша Поля, за ней и Егор вылез:

– Какие тебе здесь овчи! Стреляй!

И Степан выстрелил. Зайцы вразились в малег – шум, треск!

– Ну и стрелок! – гудел Егор, бродя у малега в рассветном полумраке. – Ни одного не задел, а еще к красным был он причислен!

Степан помалкивал. Много зайцев он видывал, но такого нашествия да таких крупных – не доводилось.

– А я-то на зайчатину настроилась, – смеялась Поля, – а вы по овчам по каким-то палите!

Когда совсем рассвело, Егор велел Поле собираться домой:

– Работы много, Степка здесь и один посторожит...

– А не боязно ему будет? Ночи-то темные...

– Так ведь вояка он у тебя. К этим, каким-то, причислен, говорю, был...

Поля и Егор отправились домой. Где-то в стороне завывли волки. На разные голоса. Вой их гулко раздавался в лесу.

– Не отставай, а то домой без тебя приду. – Этих слов Егоровых Поля словно не услышала – о чем-то своем думала.

Но вдруг вой раздавался совсем близко, и тут уж она так дернула – быстрее митляка за Егором полетела.

– Вот-вот, поторапливайся. Не в кой поры стяпают. И отнять не успею. Ружье-то Степке оставили – не оборонишься...

Через час ходьбы они вышли из леса – и глазам вдруг сделалось и радостно, и неловко от открывшейся шири...

LII

Поля как в воду смотрела.

Всю зиму ходили по деревне разговоры, что у бабы Ефимовой будет двойня: вот только кого она родит? Парней? А ежели как девок? Да сразу-то двух! Сама Шура о том только молилась, чтобы родились парнички.

После пасхальной недели Шура, бывшая уже на сносях, настояла, чтобы отвезли ее в больницу.

Из Покрова Ефим вернулся угрюмым, неразговорчивым, на расспросы материны отвечал крикливо:

– Может, сегодня родит, может, завтра-послезавтра! Коровы вон по неделе пережигают. Чего я там? На крыльце ночевать буду?

– А ты, давай-ко, не ухай, – осадил сына Захар, – мог бы у Анны заночевать, она, баба-то, никому не отказывает. Ладно. Завтра я, пожалуй, сам съезжу...

– И правда! Съезди-ка. Может, и подсобишь, – съязвил Ефим, – и Полька вон говорит, христовые у тебя рученьки...

– Ефим! – взъярилась Дарья. Тот выскочил на улицу.

С отцом он бранился теперь частенько, по пустякам сущим ссору затевал – давно хотел отделиться да жить своим хозяйством, но отец медлил, обдумывал, оттягивал, а ежели прямо заходил разговор – отвечал нерезонно...

ЛШ

Утром следующего дня Захар собрался навестить Шуру. Запрягал во дворе Ванюху.

К нему привернул Степан. Стал уговаривать прийти на собрание под кедр. Разговоры о разделе земли по едокам ходили давно, и вот, стало быть, на собрании народ о том шуметь будет. А Захару не до того – Шура рождает.

– И до чего же ты, Степан, стал приставучий! Дарья! Сходи буди послушай, чего там лякаться будут... – И он понюжнул застоявшегося Ванюху.

– Делать мне больше нечего! – проворчала Дарья, шедшая на колодец.

Но к полудню народу под кедром собралось порядком. Приковылял туда и Ленька Котко. Ксанфий, вынесенный Евлахой под окна, окликнул его, но тот не остановился, закачался к кедру, опираясь на трость. Подойдя к густой толпе, встал за спинами баб, боязливо озираясь.

Справившись с делами, пришли и Дарья с Ефимом.

Покровский уполномоченный, памятный бабам чистенький мужичок с зачесанными назад волосами, говорил обстоятельно, долго. Слушали его недоверчиво. Перебивали.

Поля, стоявшая рядом с матерью, тревожно взглядывала то на нервничающего Степана, то на отца: во взгляде отцовском виделось ей что-то недоброе.

Михайле было удивительно, что родственничек его Степка Лясник, прозванный теперь еще и Партейчем, тоже около начальственного стола трется, покровца уважительно называет:

– Послушаем Николая Илларионовича Воронина... Слушать не хотели. Громче других орал Евлаха:

– Это чего же получается? И на баб землю нарезать будут?

Егор его раззадоривал:

– Так твоя Огнийка, сказывают, тоже человек!

– А-а-а! Так путаешься все-таки! Бабий защитничек выискался!

– Евлампий! – урезонивала мужика кроткая Огнийка.

– Правильно, по едокам надо, – негромко, но веско сказал долговязый Васька.

Евлаха на него ослабил:

– Да тебе-то конечно! Настряпал одних девок! Вон сколько земли намеряют! Стряпай и дальше.

– Хоть и девки, а исти тоже просят. Но Евлаха не унимался:

– Да они ведь народ-от непостоянный, бабы эти! Приходящий. Сёдня есть, завтра нет. Выскочили замуж, и всё – ушли-утопали!

– Куда это они утопали? – вставила Окулина Нефедкова, показывая на девок Васькиных, стоявших кучкой поодаль. – Все еще в девках сидят...

– Да где они сидят-то? – побагровел Евлаха. – Шурка выскочила, не сегодня-завтра Ефимку еще двоих принесет! И Нинка уж не задержится... А, Афоня? Проглотил язык-от...

Афоня молчал – усмехался. А Нинка раскраснелась, разволновалась – платок белый поправила.

– А ты-то чего теряешься? – продолжал нападать Евлаха на Нефёдку Окулину. – Чего за Васькиных девок Анику с Венькой не сватаешь? Доколе им холостяжить, до седых волос?

– А это уж не твоя заботушка! – отрезала Окулина.

Девки косились на красивого, статного Веньку: ведомо им было, что с ума сходит он по старшей дочери отца Никодима, Василисе; и та, видно, привечает его, коли он чуть ли не еженочно в Покрово бегают.

– Давайте все-таки послушаем Николая Илларионовича, – пытался успокоить народ Степан.

И сам покровец поднял вверх руку, прося тишины:

– Товарищи, что бы мы с вами ни говорили, а по едокам – это справедливо...

Тут уж Дарья не утерпела:

– Какая тут справедливость! Вон Нефедко с сыновьями своими, дуботолками, ведь бороздки в лесу не сделали!

– Ой уж Дарья! – только и сказала Окулина и отвернулась.

– А ты мне рот-от не затыкай! Землю захотели готовенькую получить? А распашите-ко целину сами, не надейтесь на готовенькое-то...

Михайло старался говорить обстоятельно:

– И как это вы собираетесь делить? В Подогородцах у нас одна земля – урожайная; а в лесу, на распашах, уж не та земелюшка. И кому же какая достанется?

– Вся земля будет перемериваться, – убеждал покровец, – и хорошая, и плохая, и каждому намеряют и той, и другой, по справедливости...

– Запутаете все! – не верил Михайло.

– Да ничего мы не запутаем. Землемеры будут работать.

Под кедром еще долго шумели. Уж стали расходиться, когда показался из-за угора Захар на Ванюхе. Подъехал к народу, Ефима кликнул:

– Шура-то тебе двух девок родила... Услышал весть эту Евлаха – загоготал:

– Ну и Шура! Вся-то в Ваську...

Но тут и Ефим, к удивлению мужиков, засмеялся во весь рот:

– Девочек так девочек! Земли больше дадут!

На него оборачивались: на-ко, девкам обрадовался!

– А чего теперь девочек-то бояться, – шумели бабы, – всем земли намеряют...

Счастливая Поля не сводила глаз с Ефима, таинственно улыбалась и как бы говорила: «А я ведь сказывала тебе, обрадуешься. Али запомятовал?»

LIV

На собрания Поля ходила с охотой, весело ей было на народе спорящем, кричащем-говорящем. Одно только настораживало и неловкость душевную вызывало: за столом начальственным сидел не Захар, Евлампий, не тятенька ее Михайло – мужики степенные да уважаемые, а Степа ее. В укроминке души ей и радостно было, что муженек ее, которого прозывали не иначе как Лясником, нынче, при новой-то власти, в начальники вышел.

Но не могла она чувство обороть, уже однажды возникавшее в ней и теперь покоя не дающее, что все, что Степан говорит, делает, объясняет, и то, к чему словами правильными призывает, – все это не то, не его – чужое! И потому не может он, не должен ни говорить, ни делать, ни призывать. Она уж давно чувствовала, что он не такой, как прежде, а какой – толком и ответить себе не могла.

Но было в нем что-то еще, чего прежде никогда не бывало. Он словно из краев далеких, с войны этой братоубийственной привез одежду невидимую, надел ее, себя скрыв, и носит ее, не снимает. Дома он казался ей прежним, родным, своим; все так же ворчала на него матушка – сдергивала с него покров невидимый. И как милы были теперь Поле свекровины ворчания! Но вот он вышел за порог, на улицу, к народу ушел – и уж не тот, не такой. Не ее Степка. Виданое ли дело: ране только к Нефедку вдругозьбу ходил да с сыновьями его бражничал, а ныне, строгий да чинный, в любую избу заявляется, у Осиповых порог переступает! А Дарья уж не упускает случая нового начальника воротчами ткнуть, иногда и принародно:

– У всех ведь двери в саниках излажены, а у тебя, христового, воротча! Да и те ведь покосились. Шел бы, поправил, вместо того чтобы чужие дворы мерить.

Да и Анисья мужиков своих не один год пилит:

– Изладьте вы, навесьте вы!

А им хоть бы что! А Степану нынче и вовсе некогда. Поля прежде не шибко на это вниманье обращала, не бабье это дело – двери излаживать да навешивать, но ныне воротча эти ей глаза мозолили: идет в стаю – воротча, из стаи – воротча! А мужик в начищенных сапогах где-то в народе ходит. И делалось на душе нехорошо, и чувствовала она с еще большей остротой, что не туда мужик ходит, не то говорит – и в грешном мире этом происходит что-то не так, как должно...

LV

Не раз еще собирались мужики обсудить перемер земли. После же того, как перемер был произведен, страсти поулеглись: большими были заднегорские семьи – и земли все получили много. Для нее, кормилицы, немало надобно было навозу: Осиповы держали восемь коров. И каждый год приносили они восемь телят: одних Захар пускал, других забивал на мясо. Для овец был излажен отдельный хлев: по весне ягнят столько рожалось, что бабы не знали, как в колоду пойло вылить – одни овечьи головы, впритык! Огромного откармливали Осиповы поросенка: он уж и не ходил, сидел на заднице и худо глазами смотрел. Собираясь доить коров, Дарья ломоть мягкого³⁴ отрезала да в кринку крошила. В стае парного молока наливала и подносила поросенку. Он и чавкал крошенины³⁵, парным молочком залитые.

Захар уж не пропускал случая бабе попенять:

– Мне уж бражки в ковшике не подашь, а михряку этому вон как – в криночке...

А Дарья, на язык скорая, отрезонивала:

– Сам еще владиешь! Мимо рта-то не пронесешь... Ребячество Захарово мило было сердцу ее с молодости. Он и богатому урожаю радовался, как ребенок.

Сходит в поле, принесет зерна в пригоршне и показывает, как несмышлениш-малолетка, который нашел что-то необыкновенное:

– Дарья, глянь-ко, какой хлебушек народился... И ей радостно – колос в палец толщиной!

А когда приходило время жать – все в поле вываливали, мужики и бабы. Чтобы зерно не окрошить, работали с утра раннего: христовое солнышко никого дома не заставало; чуть

³⁴ Мягкий (ярушник), – хлеб из ржаной, ясной, пшеничной муки, иногда из ссорицы (смеси муки ячменной – ячневой, ясной – и ржаной).

³⁵ Крошенины – маленькие кусочки хлеба (хлеб крошили в суп, молоко, простоквашу).

закрасел горизонт – жать. До восьмидесяти суслонов Осиповы ставили: не утаишь, не будешь эстолько-то хлеба на печи сушить! И нетерпеливые бабы деревенские, которым очень поплясать хотелось, выпрашивали у Захара:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.